





Михаил ЗОЩЕНКО



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2018

УДК 821.161.1
ББК 84(Рос-Рус)6-5
3-78

Серия основана
в 2007 году

Зошенко М. М.

3-78 Полное собрание рассказов в одном томе. Полное собрание в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018. — 1278 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2657-7

В одном томе собраны все рассказы знаменитого писателя-сатирика, классика русской литературы Михаила Зошенко (1894—1958).

УДК 821.161.1
ББК 84(Рос-Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-2657-7

© Зошенко М. М. Наследники. 2018
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018

РАССКАЗЫ

ИСКУШЕНИЕ

Святым угодникам, что на церковных иконах, нельзя смотреть в очи...

Да бабка Василиса и не смотрит. Ей сто лет, она две жизни прожила и все знает. Она на Иуду Искаротского смотрит. В «Тайной вестере».

— Плохая моя жизнь, Иудушка, — бормочет бабка, — очень даже неважная моя жизнь. Я бы и рада, Иудушка, помереть, да нельзя теперь: дочка родная саван, видишь ли, истратила на кухольные передники...

Хитрит Иуда, помалкивает...

А кругом тени святые по церковным стенам ходят, помахивают рукавами, будто попы кадилами.

— Ничего, Иудушка. Молчи, помалкивай, если хочешь. Я тебя не неволю. Мне бы только, видишь ли, из беды моей выйти.

Довольно покланялась бабка святым угодникам, нужно и кому-нибудь другому поклониться.

Кланяется баба низко. Бормочет тихие свои слова.

Только видит: подмигнул ей Иуда. Подмигнул и шепчет что-то. Что шепчет — неизвестно, но баба знает, она — сто лет прожила.

Шепчет он: оглянись-ка в сторону, посмотри, дура-баба, на пол.

Оглянулась баба в сторону, посмотрела на пол — полтинник серебряный у купчихиной ноги. Спасибо Иудушке!

Нужно ближе подойти, потом — на колени. Только бы никто не заметил.

Эх, трудно старой опуститься на колени!

Земной поклон Богу и угодникам...

Холодный пол трогает бабкино лицо...

А где же полтинник? А вот у ноги.

Тянется старуха рукой, шарит по полу.

ТЬфу, нечистая сила! Не полтинник.

Это — плевок...

Искушение, прости Господи!..

РЫБЬЯ САМКА

(Рассказ отца дьякона Василия)

1

Неправильный это стыд стесняться поповского одеяния, а на улице все же будто и неловкость какая и в груди стеснение.

Конечно, за три года очень ошельмовали попов. За три-то года, можно сказать, до того довели, что иные и сан сняли и от Бога всенародно отреклись. Вот до чего довели.

А сколь великие притеснения поп Триодин претерпел, так и пережить трудно. И не только от власти государственной, но и от матушки претерпел. Но сана не сложил и от Бога не отрекся, напротив, душой даже гордился — гонение, дескать, на пастырей.

Утром вставал поп и неукоснительно говорил такое:

— Верую, матушка.

И только потом преуспевал во всех делах.

И можно ли подумать, что случится подобная крепость в столь незначительном человеке? Смешно. Вида-то попу никакого не имел. Прямо-таки никакого вида. При малом росте — до плечика матушке — совершенно рыжая наружность.

Ох, и не раз корила его матушка в смысле незначительности вида! И верно. Это удивительно, какая пошла нынче мелочь в мужчинах. Все бабы в уезде довольно крупные, а у мужчин нет такого вида. Все бабы запросто несут мужскую, скажем, работишку, а мужчины, повелось так, по бабьему даже делу пошли.

Конечно, таких мужчин расстреливать даже нужно. Но и то верно: истребили многих мужчин государственными казнями и войной. А остался кто — жизнь засушила тех.

Есть ли, скажем, сейчас русский человек мыслящий, который бы полнел и жиры нагуливал? Нет такого человека.

Конечно, попу это малое утешение, и поп говаривал:

— Коришь, матушка, коришь видом, а в рыбьей жизни, по Дарвину, матушка, рыба самка всегда крупнее самца и даже пожирает его в раздражении.

А на такие поповы слова матушка крепко ставила тарелку или, например, чашечку, скажем, и чего — неведомо самой — обижалась.

2

И вот уж третий год пошел, как живет поп с женой разное.

И где бы матушке с душевной близостью подойти к попу, дескать, воистину трудно тебе, поп, от гонений, так вот, прими, пожалуйста, ласку, так нет того — не такова матушка. Верно: годы матушкины не преклонные, но постыдно же изо дня в день нос это рисовой пудрой и к вечеру виль хвостом.

А попу какое утешение в жизни, если поколеблены семейные устои?

Попу утешение — в преферансик, помалу, по нецерковным праздникам, а перед преферансиком — словесная беседа о государственных и даже европейских вопросах и о невозможности гибели христианской эпохи.

Чувствовал поп очень большую сладость в словах. И как это всегда выходит замечательно. Сначала о незначительном, скажем, хлеб в цене приподнялся — житьишко неважное, значит. А житьишко неважное — какая тому причина. Слово за слово — играет попова мысль: государственная политика, советская власть, поколеблены жизненные устои.

А как сказано такое слово: советская... так и пошло, и пошло. Старые счета у попа с советскими. Очень уж было много обид и притеснений. Было такое дело, что пришли раз к нему ночью, за бороденку схватили и шпалером угрожали.

— Рассказывай, — говорят, — есть ли мощи какие в церкви, народу, дескать, нужно удостовериться в обмане. И какие святые мощи могут быть в церкви, если наибеднейшая церковка во всем Бугрянском уезде?

— Нету, — говорит поп, — нет никаких святых мошей, пустите бороденку, сделайте милость.

А те все угрожают и шпалером на испуг действуют. И не поверили попу.

— Веди, — говорят, — нас, иначе, разворачивай церковное имущество.

И повел их поп в церковь.

И ночное уж было дело. И чудно как-то вышло. И ведет, и ведет их поп по городу, а церкви нет. Испуг, что ли, бросился в голову — не по тем улицам поп пошел. Только вдруг сладость необычайная разлилась по жилам.

«Дело, — подумал поп, — подобное Сусанину».

И повел их аж в конец города, за толкучку. А те разъярились, вновь за бороденку сгрябчили и сами уж указали дорогу.

Ночью развернули имущество церковное, нагадили табачищем, наследили, но мошей не нашли.

— А, — сказали, — поповская ряса, нет мошей, так учредим, знаешь ли, в церкви твоей кинематограф.

С тем и ушли.

— И как же так — кинематограф? — говорил поп матушке. — Возможно ли учредить в церкви кинематограф? Не иначе, матушка, подобное для испуга сказано. Ведь не допустит же приход, хоть и ужасно в нем поколебалась религиозная вера, не допустит приход до этого.

Вот тут бы матушке и подойти с душевной близостью, да нет — свои дела у матушки. И какие такие, скажите, дела у матушки? Вот,

пожалуйста, оделась, вот ушла — и слова не скажи. Нет никакого пристрастия к семейной жизни.

Но не только в поповом доме подобное, а все рассказывают: «глядит, говорят, баба в сторону». И что такое приключилось с русской бабой?

3

А что ж такое приключилось с русской бабой? Смешного нет, что русская баба исполняет мужскую работишку, и что баба косу, скажем, себе отрезала.

Вот у китайцев вышел такой критический год: всенародно китайцы стали отрезать косы. Ну что ж? Значит, вышла коса из исторической моды. Смешного ничего нет.

Да не в том штука. А штука в том: великое бесстыдство и блуд обуял бабу. И не раз выходил поп к народу в облачении и горькие слова держал:

— Граждане и прихожане и любимая паства. Поколебались семейные и супружеские устои. Тухнет огонь семейного очага. Опомнитесь в безверии и в сатанинском бесстыдстве.

И все поп такие прекрасные слова подбирал, что ударили они по сердцу и вызывали слезы. Но блуд не утих.

И никогда еще, как в этот год, не было в народе такого бесстыдства и легкости отношений. Конечно, всегда весной бывает этакая острота в блуде, но пойдите, пожалуйста, в военный клуб, послушайте, какие нестерпимые речи около женского класса. Это невозможно.

И что поделать?! Ведь если попова жена — нос рисовой пудрой, и поп не скажи слова, то можно ли что поделать? И хоть понимал это поп очень, однако горькие речи держал неукоснительно.

И вот в такую-то блудную весну вселили к попу дорожного техника. Это при непреклонных-то матушкиных годах!

Стоек был поп и терпелив, но от удара такого потерял поп жизни не меньше, как десять лет. Очень уж красивый и крупный был железнодорожный техник.

И при красоте своей был техник вежлив необычайно и даже мог беседовать на разные темы. И беседуя на разные темы, интересовался тонкостями, к примеру: как и отчего повелось в народе, что при встрече с духовным попом — прохожий делает из пальцев шиш.

Но беседуя на разные темы и интересуясь тонкостями, оборачивал техник слова непременно к женскому классу и про любовь.

И пусть бы даже мог техник беседовать про европейские вопросы, не смог бы поп отнестись к нему любовно. Очень уж опасен был этот техник.

— Узко рассуждая, — говорил поп, — не в европейском размере, ну к чему такое гонение на пастырей?.. К чему, скажем, вселять железно-

дорожных техников? Квартиренка, сами знаете, неогромная, неравно какой карамболь выйдет или стеснение личности.

И на такие поповы слова качали головами собеседники, дескать, точно: сословию вашему *туго*, сословию вашему стеснение... А матушка нахально поводила плечиком.

4

И точно: вышел у попа с дорожным техником карамболь.

А случилось так, что пришли к попу партнеры и приятели его жизни — дьякон Веньямин и городской бывшего четырехклассного мужского училища учитель Иван Михайлович Гулька.

Началась, конечно, словесная беседа о незначительном, а потом о гонении на пастырей. А дьякон Веньямин — совершенно азартный дьякон, и отвлеченной политикой ни мало не интересуется.

Поп про нехристианскую эпоху, а дьякон Веньямин картишками любит — дама к даме картишки разбирает. И чуть какая передышка в словах: он уж такое:

— Что ж, — говорит, — не теряя драгоценного времечка...

Беседу они прервали, сели за стол и картишки сдали. А поп тут и объявил: восемь игры, — кто вистует?

И сразу попу такой невозможный перетык вышел: дьякон Веньямин бубну кроет козырем, а учитель Гулька трефу почем зря бьет.

Очень тут заволновался поп и, под предлогом вечернего чая, вышел попить водички.

Выпил ковшичек и, идучи обратно, подошел к дверям матушки.

— Матушка, — сказал поп, — а матушка, не обижайся только, я начел вечернего чая.

А в комнате-то матушки и не было. Поп на кухню — нет матушки, поп сюда-туда — нету матушки.

И заглянул тогда поп к технику. С дорожным техником в развратной позе сидела матушка.

— Ой, — сказал поп и дверь прикрыл тихонечко. И, на носочках ступая, пошел к гостям доигрывать.

Пришел и сел, будто с ним ничего не случилось. Играет поп — лицо только белое. Картишки сдает, головой мотнет, пальцами по столу потюкает, а сам такое:

— Сожрала нас рыба самка?

И какая такая, скажите, рыба самка?

И вдруг повезло попу. Учитель Гулька, скажем, туза бубен, а поп козырем, учитель Гулька марьяж виной отыгрывает, а поп козырем. И идет и идет к попу богатеющая карта.

И выиграл поп в тот вечер изрядно. Сложил новенькие бумажки и тязко так улыбнулся.

— Это все так, — сказал, — но к чему такое гонение?

К чему вселять дорожных техников?

А дьякон Веньямин и учитель Гулька обиделись.

— Выиграл, — говорят, — раздел нас поп, а будто и недоволен. И чайком даже, поповская ряса, не попотчевал.

Обиженные ушли гости, а поп убрал картишки, прошел в спальную комнату и, не дожидаясь матушки, тихонько лег на кровать.

5

Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу.

Вот смешна, скажем, попова грусть, смешно, что попова жена обещала технику денег, да не достать ей, смешно и то, что сказал дорожный техник про матушку: старая старуха. А сложи все вместе, собери-ка в одно — и будет великая грусть.

Поп проснулся утром, крестик на груди потрогал.

— Верую, — сказал, — матушка.

А сказав «матушка» — вспомнил вчерашнее.

Ой, рыба самка! Сожрала, матушка. И не то плохо, что согрешила, а то плохо, что обострилось теперь все против попа, все соединилось вместе, и нет ему никакой лазейки. Оделся поп, не посмотрел на матушку и вышел из дому, не пивши чая.

Эх! И каково грустно плачут колокола, и какова грустная человеческая жизнь. Вот так бы попу лежать на земле неживым предметом, либо такое сделать геройское, что казнь примешь и спасешь человечество.

Встал поп и тяжкими стопами пошел в церковь. К полдню, отслужив обедню, поп, по обычаю, слово держал.

— Граждане, — сказал, — и прихожане, и любимая паства. Поколебались и рухнули семейные устои. Потух огонь в семейном очаге. Свершилось. И, глядя на это, не могу примириться и признать государственную власть...

Вечером пришли к попу молодчики, развернули его утварь и имущество и увели попа.

ЛЮБОВЬ

1

Разбогател Гришка Ловцов. Пять лет в Питере не был — мотался бог весть где, на шестой приехал — с вокзала за ним две тележки добра везли. Дивятся люди на Красной улице.

— Вот так Гришка! Широкий парень!

А Григорий Пальч помалкивает. Ходит вокруг тележек, разгружает добро, каблучками постукивает.

В комнаты вошел Гришка — фуражку не снял, только сдвинул на широкий затылок, аж всю бритую шею закрыл. Дым под образа колечком пустил.

— Здравствуйте, — говорит, — мамаша, приехал я. Очень испугалась старушка.

— Да ты ли, Гришенька?

Заплакала.

— Прости, — говорит, — Гришенька, попутал поп — нечистый хвост — панихидку уж я по тебе у Никол-угодника...

Усмехнулся Гришка.

— Ничего, — говорит, — мамаша. И плакать нечего.

Смешно старушке стало — мамашей величает. Да не рассмеялась. Взглянула кривым глазом на сына и обмерла. Будто и не Гриша. Да и впрямь, будто не Гришка. Чудно!

А Гришка за столом пальцами поигрывает. На одном пальчике колечко с зеленым камушком, на другом — колечко, но без камушка, а за рукавом браслет, цепное золото.

Испугалась старушка снова.

— Да что ты, Гришенька, одет-то как? Нынче барская-то жизнь окончилась.

Сказал Гришка старухе:

— Безусловно кончилась. Я, мамашенька, и приканчивал. Да не в этом штука. Барская жизнь кончилась — новая началась. А покуда, пока не пришло иное времечко, — поживем, мамаша, в Питере-то. Есть у нас кой-какое добришко и денежки.

Заплакала старушка — выжила из ума. Завозился Гриша у желтого сундучка.

А под вечер Гришкины товарищи пришли. Очень даже напакостили на полу и ковровую дорожку совсем смяли. Гришке наплевать, а старуха — убирай за ними, за стервецами. Да и не убрать — сильная гульба пошла.

В пьяном виде Гришка очень бранил французов.

— Сволочи они, мамаша, — кричал он старухе в другую комнату. — И полячки — сволочи.

Тихонько охала старуха. Посмотрит, ох, посмотрит старуха ночью родимую точку на правом Гришкином плече.

Но до утра гуляли гости и бранились яростно, играя «в очко» гнутыми картами. А под утро снова пили.

Гришка в фуражке, а под фуражкой веером денежные билеты, хмельной и красивый плясал чудные танцы.

— Эх! Эх! Не тот Питер сейчас, не тот... Негде потреться молодчикам!

2

Две недели живет Гришка в городе — сыт, пьян и нос в табаке.

А и славный же парень Гришка! Широкий до чего парень, черт поberi его душу!

То у Гриши соберутся, кушают — едят, то Гриша к кому-нибудь на пирог званый.

А то и к «Воробью» вечером. Безусловно не тот сейчас Питер, но есть кое-где замечательные места. Например: замечательное место — «Воробей».

Это в Гавани. Дом как дом, с мезонином и палисадничком. Днем старуха шабуршит горшками, стряпает. А больше ничего и не видеть.

А вечером — кабаре.

Денежки припасай, и все будет. Денежки только припасай. На ночь — сотню отдай — не горюй — любая девочка!

Два раза гулял Гришка у «Воробья» — текли денежки. На третий раз похабный случай вышел: побили матроса за контрреволюцию.

Грозил матрос донести, хвалился знакомством «под шпилем». Да только сам виноват.

Сидит в дезбелье у Катюши и треплется. И мысли выражает:

— Нынче, — говорит, — я на все очень плюю и, например, на политику тоже. Мне жить охота, а политика заела мою молодость.

А Гришка рядом у Настеньки.

— Нравишься, — говорит, — ты мне, Настенька. Очень даже нравишься. Очень ты личностью похожа на одну любимую особу. А имя той особочки — Наталья Никаноровна.

А тут, значит, матрос со словами о политике. Гришка туда.

— Это, — говорит, — кто так выражается про политику? А ну-ка, клеш, выходи.

А клеш смеется и не покоряется. Обиделся Гришка.

— Ты, — говорит, — может быть, и про революцию так же скажешь?

— Да, — говорит, — так же.

Гриша тут и посерел весь.

— Ах ты, — кричит, — волчья сыть, белогвардейщина.

Ударил матроса. А тут еще ребята с Косой улицы случились.

— Бей, — кричат, — его, Жоржика.

Ударили его и в грудь, и по животу, и брюки — казенный клеш на видном месте испортили.

Гришка после этого расстроился и ночевать не остался — домой пошел.

А утром к нему Иван Трофимыч жалуется.

— Ты что же, — говорит, — Гриша?

А Гриша ему такое:

— А что ж я не могу и погулять у себя? Я, Иван Трофимыч, не афонский какой-нибудь монашек.

— Да ну? — удивился Иван Трофимыч. — Да я, Гриша, тебе только так. Любя. Голову, говорю, не защеми. Вот что. А вечером, Гриша, приходи-ка ко мне, невеста есть для тебя роскошная.

Не пошел Гриша вечером к Иван Трофимычу. Долго ходил по комнате очень серьезный и думал:

— А не жениться ли мне и в самом деле? Пожить, значит, семейной жизнью.

3

Утром Гриша по своим делам, а мамаша чай распивает с сахаром. Жует старушка белый хлеб, разговаривает с соседками:

— Гришенька мой жениться придумал. Ищи, говорит, мать, невесту.

Охают соседки, дуют в блюдечки.

— Да что ты, Савишна?

— Да. Ей богу, моя правда. Хочу, говорит, чтоб и красивенькая была и чтоб зря не трепалась.

— Что ж, — хрустят сахаром, — что ж, он это правильно требует. Да только нынче-то девки пошли очень бесстыжие. Косы пообстригли. Табак тоже легкий курят. Уж и подошло же времечко. Ох, и пришел последний час...

Да, очень много у баб всякого разговору. До вечера. А вечером Гриша приходит, посмеивается, шутит со старухой шутки, невесту требует.

Но только раз Гриша пораньше пришел. Сел, задумался и зеленым камушком не любит.

— А что, — спрашивает, мамаша, помнишь ли дочку Никанора Филиппыча?

— Это Наталюшку-то, дочку дилектора?

— Ее, мать.

— Чего ж, — говорит, — не помнить. Очень даже помню. Покойника Никанор Филиппыча, царствие Небесное, до смерти убили в леворюцию. А через год Наталюшка замуж пошла за инженера за длинноусого.

— Замуж? — вскричал Гришка. — Ну, да ничего. Желаю, мамаша, жениться на Наталье Никаноровне. Встретил ее сегодня. Узнала. Щечками вспыхнула. Хотел в ножки броситься, поклониться. Одумался. «Дай, — думаю, — у старухи узнаю». Так замуж, говоришь?

Вечером перьями Гриша скрипит, пишет что-то. К ночи за чаем вытаскивает это самое, что писал.

— Вот, — говорит, — мамаша, письмишко написано:

«Лети, лети письмецо в белые ручки Натальи Никаноровны. Извиняюсь дерзостью письма и вспоминаю любимую особочку.

Некогда, шесть лет назад я, Гриша Ловцов, раб и прихвостень бабюшки вашего, Никанора Филиппыча, тайную к вам имел любовь и три года помнил загорелые щечки и приятные ручки. Нынче забыл все насмешки ваши, нынче предлагаю свою жизнь на полном земном счастье. Ежели «да» скажете — прибегу собачкой, «нет» — так до свиданья, Гриша Ловцов, только тебя в Питере и видели. Прощай тогда,

ясочка Наталья Никаноровна. Эх, сгорел Гришка, огнем сгорел. Тому подобного знакомства!»

А? Каково, мамаша? Письмишко-то каково, говорю, написано. Будет моей Наталюшка.

4

По улице бежит человек без шапки.

«Вор, — думают прохожие, — мошенник, наверное». Но это не вор, это Гриша Ловцов бежит на решительное свиданье с ясочкой.

В записке всего три слова было: «Приходите, Гриша, поскорей». Вот и бежит Гриша Ловцов, проглатывая холодный ветер.

На ходу думать плохо. На ходу одна мысль в голове гудит на мелкие голоса: плохо ясочке. К чему бы такая экстрa?

А ясочке и в самом деле плохо. Сидит она у бледного окна, плачет, слезы капаят на Гришино письмо.

Много раз перечла Наталья Никаноровна письмо это. Много раз подходила к зеркалу. Что ж! Она и в самом деле очень хороша. Так ли ей жить, как сейчас?

В сумерках всегда острее печаль, и в сумерках Наталье было жаль себя.

А тихий звон часов и брошенная книга на полу вдруг стали невыносимы.

«Уйду», — вдруг подумала Наталья Никаноровна.

А в это время Гриша через три ступеньки — в пятый этаж. Дух перелев. За звонок дернул. Дверь открыла Наталья Никаноровна.

А Гриша и не видит ничего.

— Здесь ли, — спрашивает, — проживает Наталья Никаноровна?

Улыбнулась — бровью повела Наталья.

— Проходите, — говорит, — Гриша, в ту горницу.

— Ага, — закричал Гриша и взял Наталью за руку. — Идем, ясочка. Идем сейчас. Ну, что думать-то? Все будет. Все на свете...

Ох, плохо знает Гришка женское сердце! Так ли нужно сказать? Так ли подойти?

— Вот как, Гриша? — с сердцем молвила Наталья Никаноровна. — Купить меня думаете? Так знайте — не за деньги я к вам решила. Не за деньги. Слово даю. Причина такая есть, да не понять вам. Ну, да все равно, едем.

В дверях стоял человек с длинными усами и острым носом. Был это супруг Натальи Никаноровны.

— Едешь? — спросил он тихо и поправил от волнения усы свои длинные. — Едешь, — повторил и больно сжал ее руки. — Слушай, Наталья... Вот сейчас, здесь, я убью себя... Не веришь?.. Вот сосчитаю до пяти, если не передумаешь...

И стал считать, и когда сказал — четыре, и голос дрогнул его, Наталья вдруг рассмеялась. Звонко, оскорбительно. Закинула голову назад и смеялась.

И за руку Гришу взяла, и засмеялась снова, и, тихонько и не глядя на мужа, вышла.

А по лестнице бежали они быстро и слышали за собой торопливый бег.

— Пойдите, — кричал длинноусый. — Господи, да что ж это! Пойдите же! Наталья!

На улице, на углу, у аптеки догнал их.

— Что? — спросила Наталья.

— Не веришь, — удивился длинноусый, нагнулся к ее ногам и поцеловал грязный снег.

— Нет, — молвила Наталья, — и пошла прочь.

5

Дивья тоже на Косой улице! Живет у Гришки дочь Никанора Филиппыча. Смешно очень! Дивятся люди, в окна засматривают.

А Гришка ходит — хвост трубой, любит, подношения Натальеньке делает.

— Колечко это тебе, ясочка, за то, что длинноусому не поверила. А это за то, что невеста моя.

Утром на службу Гриша, а старухе приказ наистрожайший: ходить за Наташенькой, забавлять ее и ни в чем не препятствовать. Старуха очень ошалела, ходит за Натальей, глазом шевелит, а сама молчок. О чем и говорить — неведомо. Только утром про сны разговаривает.

— Будто, — говорит, — ударил кто под ложечку... Гляжу — мужчина с русой бородой и топор в руке. Это под пятницу-то, красавица. Вскочила я, крестом осеняюсь, крестом отмахиваюсь, а ен пырх — и нет его... Лампадку будто затеплила перед Царицей-заступницей... Глядь в зеркало нечаянно, а личности-то у меня и нет. Пустое место. Рукой шарю — нету личности. А в зеркале фига дразнится.

Наталья Никаноровна молча слушает, да про свое думает, а старушка глазом обижается — ведь под пятницу все-таки.

А вечером Гриша со службы. Чистый, причесанный и даже духами от него воняет. Ручку у Натальюшки Гришка поглаживает, нежит ручку-то и про свадьбу разговаривает.

— Свадьбу, — говорит, — сыграем, и — ну из Питера, ясочка. На людей посмотрим, по Волге поедем на пассажирском... Барские твои привычки сохраним. Живи, ясочка.

Молчит Наталья. Что ж? Не привыкла, стало быть.

— Эх, ясочка! Очень тебя люблю. Скажи — все сделаю... Свадьбу такую справим — дым в небо. Всех пригласим. Сам пойду умолю.

Профессора одного знаю, писателя одного знаю тоже. Не скучно будет Натальюшке. А?

Молчит Наталья, ласкает Гришкину голову.

6

На высоком шкафу стоит лампа, крутит огненным языком, подпрыгивает. В комнате танец-краковяк танцуют. Серьезный танец краковяк. Танцуют, молчат, никто и не улыбнется.

А очень великолепно старик на гармонии играет. Да только невесело. Нельзя слепцов на свадьбу звать, — душу всю вывернут. Ведь ишь ты, гадина, как тонко перебирает.

Ходит Гришка с невестой, с женой теперь то есть, гостям улыбается, а душа гудит.

И с чего б это было так невесело?

Все расчудесно вышло, благородства тоже во всем немало. Вот и старичок в сюртуке — не кто-нибудь — профессор Блюм мудрит с рыжим студентом.

А рядом в комнате старуха с девкой босой стол прибирают. На столе даже цветок есть — кому любопытно понюхать.

— Пожалуйста, дорогие гости, не побрезгуйте.

Сели за стол, да плохо сели. Молча пироги жуют. А как выпили раз-другой — смех пошел по столу. Смеются все, и причин уважительных нету.

И профессор Блюм улыбается, к рыжему студенту льнет.

— Сам, — говорит, — был таким. Люблю очень студентов. Выпьем за науку и за просвещение.

И вдруг Наташенька тоже стакан свой поднимает и улыбается.

Молчала все, а тут и я, дескать, с вами.

Обидно очень Гришке.

Да и рыжий на Наташеньку что-то засматривается. По-своему ей глазом мигает, да, может быть, и ножку, гадина, под столом ей жмет. Ох, а и противен же до чего Гришке этот рыжий! Так бы вот в зынзыло и дал.

Гришка с профессором беседует тонко, а сам на студента глазом:

— Вы, — говорит, — профессор, за науку выпиваете, а между прочим — тьфу ваша наука.

Профессору и крыть нечем. Сидит на стуле, беспокоится, ртом дышит. А Гришка ему все серьезное:

— Да-с. Я науку вашу очень презираю. Смешно! Про землю, например, скажем: шар и, так сказать, вертится... А что вы за такие, за правильные люди, что как раз и угадали? Вот, скажем, через пятьдесят лет или, может быть, меньше, возьмет кто-нибудь и объявит по науке вашей: а земля-то, скажет, и не вертится, да и не шар, да и... черт его знает, что скажет. Тьфу на вас!

Тут все на профессора уставились, дескать, вот так Гришка, широкий парень. А тут еще дьякон Гавриил словечко вставил:

— Мы, — говорит, — интеллигенция, хотя и очень уважаем вас, Григор Палыч, так сказать, почитаем совершенно, однако, земля до-сконально есть круг, установленный наукой и критикой, — сказал и на профессора этак вот ручкой.

Тонкая бестия этот дьякон Гавриил!

Да, крупный разговор вышел, ученый. Гришка то на профессора, то на студента глазом. А студент ничего — рыбу кушает. Не жалко, конечно, пускай кушает, а только зловредный же этот рыжий!

А профессору, должно быть, очень обидно за науку стало. Григорь-то Палычу он ни словечка — видит, сидит человек с круглыми глазами — так он дьякону Гавриилу. И с чего бы это он дьякону Гавриилу?

— Вы, — говорит, — со своей гнусной философией твоо...

А Гришка со стула вдруг, по столу кулаком.

— Бей, — кричит, — их... рыжую интеллигенцию.

Сгрудились гости, присели иные...

— Эх! — закричал Гришка и надел на студента.

7

Длинноусый шел на вокзал. Сегодня они уезжают из Питера.

«Этакая ведь скверная штука, — думал длинноусый. — С чего бы мне идти. Зря иду. Ей-богу, зря. Я вот на них взгляну одним глазком и уйду. Не из романтизма взгляну, не глазом, так сказать, любви... хе-хе, а издали, из великого любопытства... Гм. Я даже радуюсь. Мне, милостивые государи мои, на многое совершенно наплевать, мне, милостивые государи, смешны даже в некотором роде высокие чувства любви. Подумаете — врет? Вот, скажем, и Наталья подумает про меня — погиб из-за великой любви. Даже вот убиться хотел... Вздор. Совершенный вздор. То есть, может быть бы и убился, если б, скажем, поверила. Вздор, сударь мой. Шарлатанство. Женская, так сказать, природа требует остроты, так вот — пожалуйста... хе-хе... А мне смешно. Честное слово, смешно. Ну, что я могу поделать — смешны всякие трагические чувства. Конечно, плохо, что она с Гришкой. Я даже снoва готов на всякие потрясения, но любовь... хе-хе»...

Тут длинноусый остановился у вокзала.

— Подождем, — сказал он громко. — Посмотрим, понаблюдаем. Они непременно под руку пойдут. Все-таки Гришке-то лестно. А она с этакой тонкой улыбочкой. У ней вечно этакая тонкая улыбочка. Накануне вот приходит. «Что?» — спрашиваю. «Не могу, — говорит, — с тобой жить. (А у самой этакая улыбочка.) Не могу, — говорит, — больше жить. Не живой ты. Ну, сделай что-нибудь человеческое. Убей меня, что ли, Гришку, наконец, убей».

Гм. Тонкая первопричина, тончайшая. Конечно, острота чувств... Да не в этом корень. Тут, можно сказать, историческая перспектива.

Тут, ух как широко! Тут, можно сказать, — история. Да-с, история и инстинкт женщины. Скажем, через сорок лет голубую кровь, хе-хе, им перельем. Вот оно что. Может, я и не сопротивляюсь из-за этого... Ну, куда ты, баба, прешь? Толкнуть можешь. Видишь, человек по делу стоит.

И точно: баба с мешком и корзиной пихнула длинноусого в живот. — Дура, — сказал длинноусый. — Этакая чертова баба!

А за бабой в двух шагах двое под руку.

Они!

— А, — улыбнулся Гришка, — вы здесь.

Не ответил ничего длинноусый и пошел за ними вслед. Идут вдоль вагонов — не обернутся. И длинноусый сзади.

— Здесь, — сказал Гришка, — и вошел в вагон.

— Наталья.

— Что?

— Не веришь? — поглядел ей в глаза длинноусый.

— Нет, — молвила Наталья, — и вошла в вагон.

«Под вагон, что ли, упасть? — уныло подумал длинноусый, когда поезд, железом лязгая, двинулся с места. — Вот под тот».

Постоял длинноусый с секунду, поднял глаза, а в окне Гришка с Наташей. Наталья — та спиной, а Гришка ухмыляется и этак ручкой делает, дескать, — прощайте, счастливо оставаться.

Постоял длинноусый, постоял и поплелся тихонько к выходу.

ВОЙНА

1

До станции «Кривые Горки» третья рота мигом доехала — экстра. А на станции «Кривые Горки» слух прошел, дескать, не по правилу едем: положено приказом, кто на фронт — денежки вперед за два месяца. Ладно. Отдай денежки. Фунт хлеба и денежки — урожай не урожай.

А тут еще Федюшка Лохматкин — оптик по всем делам:

— Верно, — говорит, — положено это наивысшим начальством.

А с кого требовать? Начальство все впереди, а полуротный Овчинкин — шляпа, и сам не в курсе.

Ладно. Нельзя ехать.

На станцию вышли. Кучками бродят. Торговлишка завязалась кой-какая. Только видят: стоит баба у звонка, веревку держит и очень грустно плачет. Тут же и военный с ружьем на нее насккивает.

— Прошу, — говорит, — честью, баба, отойди от колокола. Убью на месте — звонить нужно, потому поезд пассажирский...

А баба ему такое:

— Не отойду, кормилец, от колокола. Убей ружьем, Христа ради... Отдай лисью шубу, пять фунтов масла.

А Федюшка уже тут. Народ растолкал ручкой.

— Чего, — говорит, — тут такое приключилось?

Баба слезой давится. Баба очень слезой давится.

— Так и так, — говорит, — отряд заградительный лисью шубу... За-чем, мол, тебе, баба, шуба? Это, дескать, спекуляция.

— Не по правилу это... — сказала толпа.

А тут еще с четвертого взвода — Ерш по фамилии.

— Фу ты, — говорит, — братцы, товарищ Федя, да отдадим бабе шубу.

Тут все заговорили очень.

— Живут, — говорят, — одни великолепной жизнью, а другие по-гибают в мерзости. А шуба — вещь и стоит немалых денег.

Великий шум поднялся. А на шум — отряд заградительный, двенадцать человек ружье к ружью.

— Разойдись, — кричат, — по мере возможности. Зачем этакое немыслимое скопление?

Слово за слово. Это, дескать, не по правилу, товарищи — шуба, пять фунтов масла.

Иные уже и винтовочки схватили, серьезно затворами шелкают, а Ерш и пулемет с лентами выкатил.

Отряд в двенадцать человек — в цепь, и к лесу. Не иначе как окопаются на опушке. Смешно.

А народу все больше да больше. К цейхгаузу повалили. Дверь ружьишском разбили. Добра там видимо-невидимо.

Баба тут взвизгнула очень тонко:

— Вот она лисья шуба, пять фунтов масла.

А у самой каждое слово слезой омыто.

— Не по правилу это, — решили люди, осматривая лисью шубу. — Очень это не по правилу.

А тут вдруг Ерш бочонок в темном углу нашел. Рукой он по бочонку похлопывает, а сам такое:

— Фу ты, братцы, а ведь это же масло.

— Совершеннейшее масло, — сказали люди, выкатывая бочонок из цейхгауза. — Совершеннейшее масло. Одни живут великолепной жизнью, а другие погибают в мерзости.

А Ерш все рукой по бочончку.

— Именно, — говорит, — великолепное масло. И какая может быть война? И какой государственный масштаб?

Тут все закричали сразу:

— Не нужно денег, если так... Без денег поедем, братцы, — экстра.

А очень великолепно жить в провинции. В столицах полная нехватка хлеба, а, скажем, в Устюге каждый, даже маломочный, с огорода изрядный достаток имеет. Да и что с огорода?

Председатель исполкома кур разводит, член тройки тоже кур разводит, доктор Гоглазов — кур, а комендант станции кролиководством занят.

Чудак необыкновенный этот комендант станции. Всегда он на высоте положения. Огороды его уж на версту раскинулись. Кролики у него во множестве плодятся. Мирное ему житье.

Только нынче нехорошая штука с ним вышла. Не удался день. С утра не удался день. С утра свиньи грядку турнепса пожрали. Хорошо, если его свиньи — к жиру, а если, скажем, Ипатовы...

На станцию комендант серьезным пришел. А тут еще барышня с Смитом телеграмму сует, — дескать, срочно и секретной важности.

Телеграмму прочел комендант — телом затрясся.

«...Белогвардейцы и мятежники. Поезд 43... Разоружить. Бочонок масла»...

Гм! Штука... Свиньи турнепс пожрали... Штука.

— Алло, исполком... Срочно и секретной важности... Так, мол, и так и, пожалуйста, соответствующие меры...

«Гм! Штука... Мои — так к жиру, но Ипатовы, как пить дать, Ипатовы».

Комендант станции и председатель исполкома на высоте положения. И к полдню на всех заборах листовки наклеены.

Дивятся очень прохожие. Что ж это, граждане? Листок...

На заборе театральная афиша — столичная труппа «Променад». Великолепные знаменитости.

Пониже корявая бумажка, и на ней: «Настоящая персидская оттоманка за полцены с разрешения жилищной комиссии».

А рядом листок — и крупней крупного:

«Военное положение. Ходить до семи. Жиров полфунта... Белогвардейцы и мятежники»...

Штука! Как же так, граждане? Смешно — до семи. Если, скажем, секретарь исполкома, товарищ Бычков в девять любовное свиданье назначил. Любовная у него интрига с лета-месяца. А он в девять на Урицком мосту. Урицкий мост аж за тюрьму, в конце города. Гм! Смешно — до семи, если доктор Гоглазов... Тьфу ты, бес! А комендант-то, комендант-то как же с огородом? Гм! Штука.

3

Председатель исполкома Петр Стульба с балкона слова лепит:

— Белогвардейцы и мятежники... Разоружить... Притянуть... Поезд 43... Бочонок масла...

Очень хорошо и длинно говорит председатель исполкома... Лепит — говорит, а сам руку, этак вот, за пояс. Для истории. Иные так за борт или, скажем, смешно даже — в карман, а Петр Стульба — за пояс.

— Позор, — сказал отряд матросов особого назначения и ряды вздвоил.

Котелки за спиной звякнули. Перемигнулись штыки с солнцем.

Напряглись клячонки. Клячонки-то очень напряглись — смотреть жалко. Еще бы — пушка трехдюймовая, пушкино дуло больше лошади.

Пушку эту у вокзала поставили дулом в даль. Клячонок распрягли — нехай пасутся. А сами — в цепь.

Поезд едва до вокзала дошел — закричали как, задвигались матросы.

— Оружие! Оружие, сукины дети, кладите!

Дивится очень третья рота. Из теплушек лезет!

А впереди Ерш с четвертого взвода, выюном вьется и всех подначивает:

— Не покоримся, братцы! Немыслимо положить оружие.

Выкатим, братцы, товарищ Федя, пулемет да и, пожалуйста, стрельнем, жажахнем по клешникам.

И стрельнули бы (живут одни великолепной жизнью, а другие погибают в мерзости), да Федюшка тут выступил.

Ручки сложил на желудок, дескать, делегат, и нету у него оружия, выступил.

— Совершенно, говорит, — правое дело, товарищи. Можно ли подобное: лисья шуба, пять фунтов масла...

— Как? — подошли ближе матросы, — лисья шуба и масло?

— Да. Лисья шуба, пять фунтов масла.

— Как? — сказал комендант, высовываясь из окна, — пять фунтов масла?.. Алло, исполком. Срочно и секретной важности...

— Как? — сказал председатель Стульба, вытаскивая руку из-за пояса, — турнепс, пять фунтов масла?

А Федюша — оптик по всем делам — говорит, землю роет. И даст же Бог такой словесный дар.

— Шуба, — говорит, — и масло. Можно ли подобное? А революции, мол, все очень даже преданы и даже иностранный капитал идут бить с радостью в сердцах. Бочонок же — будь он проклят — был грех. Однако, государственный масштаб и бочонок масла — смешно.

Тут матросы заговорили.

— Очень, — говорят, — вы великолепно сделали, братишки. Очень даже мы любимся вами.

А сами-то трех клешников к пушке засылают. Дескать, неловко. Дескать, запрячь клячонок, клячонок-то поскорей запрячь, а пока пушкино дуло в сторону. Уж очень правильное дело — нельзя.

Поговорили еще матросы, звякнули котелками, расправили клеши и — к дому.

А Федюшка гоголем ходит.

Полуротного Овчинкина совсем заслонил.

Прямо-таки забил полуротного Овчинкина.

Овчинкин даже с голоса спал — чай сидит пьет, а Федюшка командует.

— Садись, — кричит, — третья геройская по вагонам. Едем на позицию полячишек бить!

4

А через три больших станции и с поезда сошли. По целине тут тридцать верст — и позиция.

Кишкой растянулась рота по шоссе. А впереди Овчинкин. Овчинкин компасом покрутит, на карту взглянет и прет без ошибки, что по Невскому.

Вскоре в деревню большую пришли. На ночь по трое в хату расположились. Федюша и Ерш наилучший дом заняли, а с ними и Илья Ильич — ротная интеллигенция.

А в доме том американка жила. Очень прекрасная из себя. Русская, но в прошлом году из Америки вернулась.

Расположились трое, картошку кушают, а Ерш все свою линию ведет.

— И какая, — говорит, — братцы, товарищ Федя, война? И какой государственный масштаб? В лесок бы теперь, в земляночку. А в земляночке — лежишь, куришь...

Но Федюша не слушает — глазом разговаривает с американкой.

Американка рукой по бедрам, Федюша глазом — дескать, хороша, точно хороша. Американка плечиком, — дескать, хороша Маша, да не ваша... Федюша глазом соответствует.

И час не прошел, а Федюша уж, как Хедив-паша, с американкой на печи сидит.

Ерш внизу мелким бесом, а сам Илье Ильичу тихонечко:

— Скалозубая. И какой в ней толк? Зубами, гадина, целует... А уж и сердцегрыз Федюша наш! Но только доведет, достукает его любовь-баба... А тут война. И какая теперь может быть война?.. В земляночку бы теперь... Свобода...

Вот и господин Илья Ильич — интеллигенция ротная, а как бы сказать, совершенно грустный из себя. А отчего грустный? Война. Человеку жить нужно, а тут война. Несоответствие причин.

— Да, — сказал Илья Ильич. — А ведь и точно плохо.

А главное радости никакой. И почему так? Что такое со мной произошло?..

Поднял голову Илья Ильич, смотрит: Федюша с печки вниз спускается.

— Ох, — говорит Федюша, — загрызла меня, братцы, американка. До того загрызла, что и слов нет. Сосет в груди. Остаться нужно. Эх, кабы день-два! Эх, мать честная, все пропадет. Останусь. А ведь останусь, братцы. Будь, что будет! Не отступлюсь от ней.

Радуетя Ерш, лицо — улыбка.

— Да ну?

— Да. Останусь. Сама американка присоветовала. «Оставайтесь, — говорит, — винтовочки спрячу, вас — в овин до утра, а утром, коли начальство поинтересуется, скажу: ушли».

— Ладно.

5

Американка фонарем светила, Федюша рядом под локоток, а Ерш и ротная интеллигенция сзади.

— Здесь, — засов отодвинула американка. — Сюда заходите. И ни боже мой, покуда не позову.

— Ладно.

Очень скверно в лицо пахнуло. А ведь что ж? По доброй воле. Сели у стенки. Гм! Запах. А у Ерша счастье на лице.

— Дальше-то что? — улыбается, — дальше-то, братцы, товарищ Федя, что? Ведь и государственный масштаб теперь к черту... А дальше-то не иначе, как в лес. Дальше-то прямая дорожка в лес. Да только пугаться нечего — прокормимся, как еще прокормимся. А то, скажем, на почтовых... Такой-этакой... с деньгами... сто тысяч... С провизией... и девочка с ним... черная, красивенькая, кудряшечки этикие... Стой-постой! Откуда есть такой? Тут и стукнуть по черепу. И концы в воду. И лошади себе. И повозку себе...

— Да, — сказал Федюша, — а и шельма же она, братцы. Страсть люблю таких. «И ты, — говорит, — мне очень нравишься, Федюша. Больше жизни. Да только зачем нам жизни свои зря спутывать. Ты голый, соколик, да и у меня по пятьсот две думских, да кольцо дареное»...

— Плохо, — вдруг испугался Илья Ильич, — это что ж? Выходит, что в разбойники. Опять несоответствие причин. Гм... Дурак Ерш, а сказал какво хорошо: несоответствие причин. Но как все плохо. Даже если и в Питер, сейчас, и то плохо. Здесь в навозе, да и там в навозе, на Малой Охте. На Малой Охте! И почему такое? Мог бы и в городе жить, а живу, черт знает, на Малой Охте. И ведь непременно у ветеринарного фельдшера Цыганкова. Хе-хе. И пустяки, что жизнь дрянь. Жизнь дрянь, но в гадости-то скорее радость найдешь. В грязи-то и всем хоть немножко, хоть чуть-чуть, да приятно. Чужую грязь мы не любим, а от своей — великое наслаждение. Вот знаю, а все плохо. А плохо-то в себе. Особое, может, неважное пищеварение, что ли... Что ж? В разбойники нужно... Хе-хе... прямая дорожка.

— Прямая дорожка в лес, братцы, товарищ Федя, — бормотал Ерш, засыпая. — Говорят, объявилась атаманша-разбойница. Геройской жизни. Грабит, поезда останавливает.

«В разбойники, — думал Илья Ильич, закрывая глаза. — И что меня удержит? Россия... Гм... Может, России-то уже нет, да и русских нет. То есть, конечно, есть, да живут ли они? Может быть, все как я, может быть, у всех — великое «все равно»...»

Под утро заснули трое и видели сны.

6

Уже и солнце проткнуло все щели в овине, а Ерш спит — раскинувшись, лицо — улыбка, сам в золотых полосках, будто зебра.

А Федюша все в щель смотрит. Да только тихо на дворе: куры ходят, вот свинья у самого носа хрюкнула, а больше никого не видать. И что за причина такая?

Ротная интеллигенция тоже в щель — ничего. Ерш проснулся.

— Фу ты, — говорит, — братцы, а ведь кушать-жрать хочется.

Только видит Федя: старуха на крыльцо мотнулась.

— Тс, — цыкает ей Федя, — ты, чертова старуха. Гм... Притча. Не слышит, чертова бабка, сук ей в нос.

Просидели час. Тихо.

Заспалась, должно быть, Маруся-американочка. Еще час просидели. Федюша начал засов ножом ковырять. Ножом отодвинул засов.

— Сейчас, — говорит, — братцы.

И сам по двору тенью.

Только прибегает обратно — глаза круглые и сам не в себе очень:

— Нету, — говорит, — американки. Ушла чертова Маруся. С полуротным с Овчинкиным вовсе ушла. Сама старуха — сук ей в нос — призналась. Дескать, полуротный Овчинкин к вечеру вестового засылал, а к ночи и сам в гости пожаловал. Жрали, — говорит, — очень даже много, и все жирное, и спать легли вместе. А утром полуротный из дому и Маруся с ним. Вот ушла чертова Маруся. Что ж теперь? Гроб.

Вышли на двор. Ушла, мать честная, и следов нет.

Посмотрел Федя на солнце, на дорогу посмотрел. И куда ушла? В какую сторону? Без компаса никак нельзя узнать.

— Эх, испортила американка жизнь! Угробила, чертова Маруся. Очень даже грустно сложились обстоятельства.

Посмотрел Федя Лохматкин на Марусин дом — сосет сердце.

«Красавица», — подумал.

В окно глянул, а в окне старухин нос.

— Тьфу ты, мерзкая старуха, до чего скверно смотреть.

А тут Ерш, лицо — улыбка.

— Что ж, — говорит, — братцы, товарищ Федя, — судьба. И какая там война? И какой государственный масштаб? В лесок уйдем. Прямая дорожка без компаса.

И трое зашагали в лес.

7

Бродили в лесу до вечера. А вечером повис над болотом серый туман, и тогда все показалось бесовским наваждением.

Огонь развели веселый, но было невесело. До утра просидели очень даже грустные, а утром дальше пошли.

Прошли немного — верст пять, и вдруг закричал Ерш:

— Едут!

Верно. Вдали негромко звенели бубенцы.

— Едут! — застонал Ерш. — Тащите бревно... Тащите же бревно, сук вам в нос.

Но никто не двигался.

А у Ерша паучьи руки — очень ему трудно из канавы бревно тащить.

Однако, тотчас выволок бревно это и накатил на дорогу.

Били железом по камню лошади, и за поворотом показалась желтая повозка с седоком.

— Стой! — закричал Ерш. — Идем же, братцы, товарищ Федя.

— Стой, стой! — повторил Ерш и вытащил нож, подбегая.

— А-а... — дико закричал седок.

Во весь рост встал. Трясется челюсть. В руке револьвер. Вздروгнули лошади, лес ахнул тихонько.

— Братцы, — тонко закричал Ерш, — так нельзя. Он с револьвером...

И хотел к лесу. Но упал лицом в грязь и затих.

Выстрелил два раза седок. Железом бешено забили лошади, и скрылась желтая повозка.

А на бревне сидел Илья Ильич и тоскливо смотрел на Федюшку. За Федюшкой — красный след. Федюшке трудно ползти.

СТАРУХА ВРАНГЕЛЬ

1. Тонкое дело

По секретнейшему делу идет следователь Чепыга, по делу государственной важности. И, конечно, никто не догадается, что это следователь. В голову никому не придет, что это идет следователь.

Вышел человек подышать свежим воздухом, и только. А, может, и на любовное свидание вышел. Потихше, главное. Потихше идти и лицо чтоб играло, пело чтоб лицо — весна и растворение воздушных.

Иначе — пропал тончайший план. Иначе каждый скажет: «Эге, вот идет следователь Чепыга по секретнейшему делу».

— Красоточка, — сказал Чепыга девушке с мешком. — Красоточка, — подмигнул ей глазом.

Фу-ты, как прекрасно идет. Тоненько нужно тут. Тоненько. А потом такое: а дозволейте спросить, не состоите ли вы в некотором родстве... хе-хе...

Тут Чепыга остановился у дома. Во двор вошел. Во дворе — желтый флигель. На флигеле — доска. На доске — «Домовый Комитет».

— Прекрасно, — сказал Чепыга. — В каждом доме — комитет, в каждом доме, в некотором роде, государственное управление. Очень даже это прекрасно. Теперь войдем в комитет. Тек-с. Послушаем.

Два человека разговаривали негромко.

— Ну, а о политике военных действий что, Гаврила Васильич? — спросил тенорок.

— О политике военных действий? Гм. С юга генералы наступают.

— Очень хорошо, — обрадовался Чепыга. — Войдем теперь.

В комнату вошел и спросил, сам голову набок:

— Уполномоченного Малашкина мне. По секретному. Ага! Вы гражданин Малашкин? Очень прекрасно. А дозволейте спросить, кто в квартире 36-й проживает? Да-с, в 36-й квартире. Именно в 36-й.

У Гаврилы Васильича острый нюх. Гаврила Васильич почтительно:

— Старуха проживает. Старуха и актер проживают.

— Ага, актер? — удивился Чепыга. — Почему же актер?

— Актер-с. Как бы сказать — жильцом и даже на иждивении.

— Гм. На иждивении. Расследуем и актера. Ну, а в смысле старухи, не состоит ли старуха в некотором родстве, ну, скажем, с генералами с бывшими или с сенаторами? Да, вот именно, с сенаторами не состоит ли в родстве?

— Неизвестно, — ответил Гаврила Васильич. — Старуха, извиняюсь, небогатая. Сын у ней на войне пропал. Жалкует и к смерти готовится. У ней и местечко на Смоленском заказано. Тишайшая старуха.

А следователь свое:

— Расследуем старуху. По долгу, — говорит, — государственной важности, расследуем и старуху и актера. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать.

2. Следствие

Актер лежал на кровати и ждал Машеньку. Если не сбобет, то придет сегодня Машенька. Актер лежал на кровати как бы с некоторой даже томностью.

— Энтре, Машенька, — сказал актер, когда Чепыга постучал в дверь костяшками. — Энтре, пожалуйста.

«Тут нужно чрезвычайно тоненько повести дело», — подумал Чепыга и к актеру вошел.

— Извиняюсь, — обиделся актер.

А следователь прямо-таки волчком по комнате.

— Дозвольте, — говорит, — пожать ручку. Собственно, к старухе я. Однако, некоторое отсутствие старухи принуждает меня...

— Ничего, — сказал актер, — пожалуйста. Только сдается мне, что старуха, пожалуй, что и дома.

— Нету-с. То есть придет сейчас. А дозволейте пока, из любопытства я, спросить, не состоите ли вы в некотором родстве с подобной старухой?

— Не состою, — ответил актер. — Я, батенька мой, артист, а старуха, ну, как бы вам сказать, — зритель.

— Тек-с, очень хорошо, — удивился Чепыга. — Гм. Зритель... Вижу образованнейшего человека... Так, может быть, вы с сенаторами какими-нибудь в родстве?

Тут актер с кровати приподнялся, и в Чепыгу дым стружкой.

— Угу, — говорит, — с сенаторами... А насчет старухи какое тут родство: темная старуха — и артист. Я, батенька мой, человек искусства.

— Вижу образованнейшего человека, — бормотал Чепыга. — И книг чрезвычайное множество... И книги эти читать изволите по профессии?

— М-да, — сказал актер, — читаю и книги по профессии. К «Ниве» тут приложение — писатель Максим Горький.

— Тек-с, русская литература. Ну, а касаясь иностранной, южной, может быть, новиночки, через передачу. Из любопытства, опять-таки.

— Из иностранной — роль Гамлета, английского писателя.

— Удивительно, совершенно удивительно...

«Гм, однако, какого же вздору я нагородил, — подумал Чепыга. — И он-то как глаз отводит. Вот умная бестия. Гм, и к чему бы это мне про книги? Да, касаясь южной новиночки, через передачу. Опутать может. Ей-богу, опутает».

«Восьмой час, — подумал актер вздыхая. — Сробеет Машенька, непременно сробеет... А молодой-то человек общительный — про книги интересуется».

— Вы, кажется, про книги интересуетесь, — спросил он Чепыгу, — так вот тут — Гамлет. Я, знаете, все больше на трагических ролях. Мне все говорят: «Наружность, — говорят, — у вас трагическая». И я, действительно, не могу, знаете ли, шутком каким-нибудь... Я все больше по переживаниям...

— Ох, — испугался Чепыга, — плохо. Нельзя так. Не такой это человек, чтобы тоненько. Тут напрямик нужно.

Застегнул Чепыга пиджак на две пуговицы и встал.

— По делу, — говорит, — службы, должен допросить вас и установить.

Испугался актер.

— Как? За что же установить? За что же допросить, господин судебный следователь, извиняюсь?

«Сгрябчит, — подумал актер, — как пить дать сгрябчит».

А следователь и руки потирает.

— Не состоите, значит? Значит, так-то вот и не состоите? А если, скажем, старуха призналась, выдала... Если, скажем, пришла сегодня старуха, гуляючи пришла и, дескать, так и так — выдала.

— Не состою, господин следователь.

— Гм, — сказал Чепыга, — прекрасно. Фу ты, как прекрасно. А не скажете ли мне, касаясь сборищ тайных у старухи, тайных собраний. И не приходил ли кто к старухе в смысле передачи корреспонденции?

У актера очень дрожали руки.

— Приходили, господин следователь. Супруга уполномоченного Малашкина приходила... Только я, господин следователь, с детских лет предан искусству... А к старухе, точно, Малашкина приходила. Сегодня и приходила. Сначала про жизнь, господин следователь, дескать, плохая жизнь. Так и сказала: «Плохая, — говорит, господин судебный следователь, — жизнь». А потом о политике военных действий, дескать с юга, извиняюсь, наступают, господин следователь. А Малашкина все старухе такое: «Чего ж, — говорит, господин судебный следователь, — от счастья своего отказываться». А старуха отмахивается, отвергает, одним словом: «Не может, — говорит, — быть того, чтоб Мишенька мой в генералы вышел». Так и сказала: «В генералы, — говорит, господин следователь, — вышел».

— Дальше, — строго сказал Чепыга.

— А дальше, господин следователь, в комнате шу-шу-шу, а о чем, извиняюсь, не слышал. А я, господин следователь, со старухой не состоял и не состою и, не касаясь политики, с детских лет по переживаниям. Старуха же так и сказала. «Плохая, — говорит, — жизнь». А если я дымом в лицо, господин судебный следователь, недавно побеспокоил вас, — струйкой по легкомыслию — извиняюсь.

Следователь Чепыга любовно смотрел на актера.

3. Почетный гражданин

— Тру-ру-рум, — тихо сказал Малашкин и в комнату вошел. — Тру-ру-рум... А я на секундочку взошел. Я к вам, господин следователь, пожалуйста. По освобождению от дел государственных — ко мне, господин следователь. На чашечку с сахаром. Только, извиняюсь, совершеннейше вздорный слух, касаясь супруги моей. Совершенный вздор, господин следователь. По злобе характера подобное можно сказать. И, между прочим, не пойдет супруга моя к явной преступнице. Да и вообще ни с кем-то она не знается и видеть никого не может. Бывало, сам принуждаю: «Пойди, — говорю, — к кому-нибудь, отведи душу от земных забот». «Нет, — говорит, — Гавря, не пойду, — говорит, — видеть не могу старухи этой». Подобное по злобе только можно сказать. Так, значит, на чашечку с сахаром. Тру-ру-рум, господин следователь. А вам, гражданин актер, — стыдно-с. Вы собирайтесь. Они, господин следователь, из бывших потомственных почетных граждан, так сказать — барин. Вы, почетный актер, собирайте маматки. Следователь вас сейчас арестует.

— Да, — сказал Чепыга, — арестую. По делу службы арестую. Вы, гражданин Малашкин, за ним последите, а я сейчас. Я сейчас... очная ставка... Алиби... Лечу...

Актер, качаясь, сидел на кровати.

— Эх, — говорит, — Малашкин, Малашкин, и что я тебе худого сделал, Малашкин. Почетный, говорит, гражданин и барин. Убийца ты, Малашкин. Грех ты большой взял на душу. Сгрябнут ведь теперь

меня, Малашкин. И за что? За что, пожалуйста, сгрябнут? С детских лет служу чистому искусству... С детских лет и не касаясь политики.

Малашкин на актера не смотрел.

4. Паутина

Мышино-тихая пришла старуха и села в угол. А следователь рукой по воздуху, дескать, вот наисерьезнейший момент. Следователь волчком по комнате. Следователь ныряет и плавает. Следователь то к Малашкину и ему быстренько:

— Попрошу слушать. Попрошу слушать и, слушая, подписом заверить показанное.

То к старухе и даже с некоторой нежностью в голосе.

— Дозвольте установить, спросить, так сказать, о драгоценном здравии ваших родственников. И кто подобные? И где проживают? И переписочку не ведут ли некоторую?

Неподвижная сидела старуха в углу. У старухи серые глаза, и платье серое, и сама старуха серая мышь. И идет — как мышь, и сидит, как мышь. И никак не поймет старуха, какой толк в словах тонконогого.

А тонконогий в волнении необычайном.

— Да, — говорит, — именно я так и хотел сказать: переписочка. Письмишко какое-нибудь. Письмишечко от известного вам лица... Скажем, родственник вам генерал... ну... ша... ша... приблизительно. Из любопытства я. Ну, пожалуйста. Родственник. Ну, а как родственнику не написать. Непременно напишет. Не такой он человек — родственник, чтоб письма не написать. Ну и вот. Вот вам и письмишечко от известного лица. Он вам письмишечко о событиях, дескать — наступаю... Вы ему цидулочку, дескать, — ага и так далее... Вы ему цидулочку, а он вам письмишко. И ведь совершенно, как видите, кругленькая выходит переписка. И корреспонденция через передачу. И кто передача? И что через передачу? Пожалуйста. Не так ли? Фу, ведь беспокоитесь же — как-то и им... Болезни ведь всякие, печали и вздыхания...

— Беспокоюсь, — заплакала вдруг старуха, — как-то это он там. Беспокоюсь... Сердце прямо таки сгнило, до того беспокоюсь... Болезни и вздыхания... Вот спасибо-то вам, молодой человек. Вот спасибо-то.

Пело, играло лицо следователя Чепыги.

«Ох! И до чего кругленько и как кругленько выходит все»...

А Чепыга опять волчок, Чепыга опять плавает и ныряет Чепыга к актеру с неизъяснимым восторгом:

— Ой, — говорит, — не угодно ли? И вы отвергаете, и вы родством таким пренебрегаете? Обидели вы меня, молодой человек. Весьма и очень обидели. Ну, так я сейчас.

И опять старухе:

— Дозвольте, разрешите еще словечко... Этот прекраснейший молодой человек... Ну да, я так и хочу сказать, родственник ли вам он будет?

— Нет, — ответила старуха, — нет, не родственник. Но я, молодой человек, к нему, как мать родная. Ему я заместо матери. Спасибо вам, молодой человек.

— Ох, — задрожал актер. — Ох, господин следователь, врет ведь старая старуха... Не знаю я ее... Темная старуха и зритель... А я сам по себе, с детских лет по переживаниям.

— Довольно, — строго сказал Чепыга. — Оба арестованы. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать.

5. Разнотык

Посадили старуху и актера пока что в общую камеру. А в камере той сидел еще один человек. Был он совершенно не в себе. Кричал, что ни сном, ни духом не виноват, масло же, дескать, у него точно было четыре фунта и мука белая для немощи матери. «Не для цели торговли, господа, а для цели матери».

Человек этот привел актера в совершенное уныние. Актер вовсе ослаб, похудел и сидел на койке, длинно раскачиваясь.

«За что же схватили, господи. Тоже ведь ни сном, ни духом. И хорошо, если суд. Судить будут. Слово дадут сказать. Так и так, народные судьи, пожалуйста... А если к стеночке? В подвал и к стеночке?»

Нехорошо было актеру, мутно.

«Что ж если и суд? Ну, что сказать? Пропал. Ни беса ведь не смыслю по юридической... Господа судьи... Присяжные заседатели»...

Не шли слова. Все разнотык. Все разнотык лезет, а плавности никакой.

«Господа народные судьи, чувствую с детских лет пристрастие к чистому искусству Мельпомены, которая... И не касаясь политики... — Разнотык. Совершенный разнотык. Могут расстрелять. И за что же, господи, расстрелять? В темницу ввергли и расстреляли. Ругал, скажут, государственную власть, поносил... Да ведь никто же не слышал... Малашкин это. Малашкин это донес. Ох, Малашкин, убийца. Этакую штуку ведь сказал: почетный, говорит, гражданин и барин... Ага, скажут, барин... Поставьте-ка, скажут, барина харей к стенке... А ведь я, может быть, всей душой и не касаясь политики...»

Господа народные заседатели, чувствуя к искусству Мельпомены, которая... и не касаясь политики... с детских лет по переживаниям.

Плохо. Очень просто, что расстреляют. Мамаша покойная плакала: кончи, говорит, Васенька, гимназию — по юридической пойдешь... Так нет — в актеры. А очень великолепно по юридической. Дескать, господа народные заседатели, пожалуйста».

Решил актер, что расстреляют его непременно. И с тем заснул.

А ночью пришли к нему люди в красных штанах. Надели на голову дурацкий колпак и за ногу потащили по лестнице.

Актер кричал диким голосом:

— За что же за ногу? Господа народные заседатели, за что же за ногу?

А утром проснулся актер и похолодел.

«Сегодня конец... А, может, и не жалко жизни. А ведь и не жалко жизни. Да только Машенька придет. Машенька плакать будет. А он у стенки встанет. В подвале. Не завязывайте, скажет, глаза, не надо. Все. С детских лет, господа народные судьи...»

В серо-заяпанное окно бил дождь. И капли дождя сбегали по стеклу и мучили актера.

Старуха тихо сидела на койке и бездумно смотрела в окно. А черный человек ходил меж койками и все свое, все свое:

— И ведь, господа, не для цели торговли, для цели — матери.

6. Конец старухи

Через три дня их выпустили. Да, открыли камеру и выпустили.

— Идите, — сказали, — куда пожелаете.

И вышли они на улицу.

Тихонько мышью вернулась старуха домой и заперлась в комнате. А томно-похудевший актер ходил до вечера по знакомым и говорил трагически:

— Поставили меня, а я такое: не завязывайте, говорю, глаза, не надо. Курки щелкнули гулко. Только вдруг вбегает черный такой человек. Этого, говорит, помиловать, остальных казнить. И руку мне пожал. Извините, говорит, что так вышло.

А вечером к актеру Машенька пришла. Актер плакал и целовал Машенькины пальцы.

— Оборвалось, — говорил, — Машенька, что-то в душе. Надломилось. Не тот я теперь человек. Не нужно мне ни славы, ни любви. Познал жизнь воистину. Раньше многое терпел в достижении высокой цели. Славы жаждал. А теперь, Машенька, уйду со сцены — ни любви, ни славы не нужно. Раньше терпел от Зарницына. Прохвост Зарницын, Машенька. Думает — режиссер, так и все позволено. Гм, руки, говорит, зачем плетью держите. Эх, Машенька, усилить нужно, трагизм положения усилить нужно. Положи руки в карман — шутовство и комедия. Не понимают. Терпел, а сейчас не могу. Пропал я, Машенька. Жизнь познал и смерти коснулся. И умри я, Машенька, ничто не изменится.

Ночью, когда актер целовал Машеньку и говорил, что еще прекрасна жизнь и еще радость и слава впереди, ночью за стеной тихо померла старуха.

И никто не удивился и не пожалел, напротив, улыбнулись: одной, дескать, старушкой меньше. А похоронили старуху не на Смоленском, где было местечко заказано, а почему-то на Митрофаньевском.

ЛЯЛЬКА ПЯТЬДЕСЯТ

I

И какой такой чудак сказал, что в Питере жить плохо? Замечательно жить. Нигде нет такого веселья, как в Питере. Только были бы денежки. А без денег... Это точно, что пропадешь без денег. И когда же придет такое великолепное время, что человеку все будет бесплатно?

По вечерам на Невском гуляют люди. И не так чтобы прогулкой, а на углу постоят, полюбопытствуют на девочек, пройдут по-весеннему — танцуют ноги, и на угол снова... И на каждый случай нужны денежки. На каждый случай особый денежный расчет...

— Эх, подходи, фартовый мальчик, подходи! Угощай папиросочкой...

Не подойдет Максим. У Максима дельце есть на прицеле. Ровнехонько складывается в голове, как и что. Как начать и себя как повести. У Максима замечательное дельце. Опасное. Не засыпется Максим — холодок аж по коже — в гору пойдет. Разбогатеет это ужасно как. Ляльку Пятьдесят к себе возьмет. Вот как. И возьмет.

Очень уж замечательная эта Лялька Пятьдесят. Деньги она обожает — даст Максим ей денег. Не жалко. Денег ей много нужно — верно. Такой-то немало денег нужно. Ковер, пожалуйста, на стене, коврише на полу, а в белой клетке — тропическая птица попугай. Сахар жрет... Хе-хе...

Конешно, нужны денежки. Нужны, пока не пришло человеку бесплатное время.

А Лялька Пятьдесят легка на помине. Идет — каблучками постукивает.

— Здравствуй, Ляля Пятьдесят... Каково живешь? Не узнала, милая?

Узнала Лялька. Как не узнать — шпана известная... Только корысти-то нет от разговоров. У Ляльки дорога к Невскому, а у Максима, может, в другую сторону.

Нелюбезная сегодня Лялька. В приятной беседе нет ей удовольствия. Не надо.

Подошел Максимка близко к ней, в ясные глазки посмотрел.

— Приду, — сказал, — к тебе вечером. С большими деньгами. Жди — поджидай.

Улыбнулась, засмеялась Лялька, да не поверила. Дескать, врет шпана. И зачем такое врет? Непонятно.

Но, прощаясь, на всякий случай за ручку подержалась.

Пошел Максим на Николаевскую, постоял у нужного дома, а в голове дельце все в тонкостях. Отпусти, скажет, бабка Авдотья, товарцу на десять косых. Отпустит бабка, а там как по маслу. Не будет никакого заскока. А заскока не будет — так придет Максимка к Ляльке Пятдесят. Выложит денежки... «Бери, — скажет, — пожалуйста. Не имею к деньгам пристрастия. Бери за поцелуй пачечку...»

А Лялька в это время вышла к Невскому, постояла на углу, покачала бедрами, потопала ножками, будто чечетку пляшет, и сразу заимела китайского богача.

Смешно, конечно, что китайского хожу. Любопытно даже. Да только по-русски китаец говорит замечательно.

— Пойду, — говорит, — к тебе, красивая.

II

Написано мелом на дверях: портной. Да только нет здесь никакого портного. И никогда и не было. А живет здесь Авдотья спекулянтка. У ней закрытое мелочное заведение. Она и написала мелом на дверях для отвода глаз.

К этой-то бабке Авдотье и пошел Максим.

В дверь, где мелом «портной» сказано, постучал условно.

А когда открыли ему дверь — так сразу покосился весь Максимкин план. Не Авдотья, а муж бабки Авдотьи стоял перед Максимом.

Шагнул Максим за порог, лопочет непонятное. Сам соображает, как и что. Покосился план, да и только. Не вовремя приехал чертов муж...

Говорит Максимка глупые слова:

— Отпусти, — говорит, — бабка Авдотья, на десять косых...

Усмехнулся бабкин муж и в комнату пошел.

А Максим за ним.

Бабкин муж веса ставит, а Максимка примеряет: как и что. Да только покосился план, мыслимо ли сразу лазеечку найти. А бабкин муж интересуется:

— Какого же тебе товарцу, кавалер?

— Разного товарцу отпусти...

— Из кисленького, может быть, — интересуется, — капусточки?

— Из кисленького, бабка Авдотья.

Стал тут бабкин муж капусту класть из кадочки, а Максим метнул сюда-туда глазом. Максим схватил гирьку и трехфунтовой гирькой тюкнул по голове бабкиного мужа.

Рухнул бабкин муж у кадочки. В руке вилка. На вилке капуста.

А Максим к прилавку. На прилавке — ящик с деньгами. Шарит Максим — в пальцах дрожь. Вытащил деньги, да маловато денег. Где же такое денежки?

Роет Максим по комнате — нету денег. А в руки все ненужное лезет, — гробенка, например, или блюдечко.

— Тьфу, бес, — где же денежки?

А в дверь на лестнице кто-то постучал условно.

Прикрыл Максим бабкиного мужа рогожкой. И к двери подошел. Слушает. Открыть, не открыть? Открою. Сердце успокоил и дверь открыл.

Малюсенький вошел старичок и тоненько сказал:

— Бабку бы Авдотью мне...

А Максим старичку такое:

— Нету, старичок, Авдотьи. Иди себе с Богом. Иди, сделай милость.

Сказал это и видит: гирька трехфунтовая в руке. Испугался Максим, что старичок гирьку заметит, пихает ее в карман, прячет гирьку-то, а старичок бочком, бочком и протискался тем временем в комнату.

— Подожду, — говорит, — бабку Авдотью. У бабки Авдотьи славная картошечка... Э, да у ней и капуста, наверное, славная. Да. Ей-богу, славная капуста...

И такой говорун, научный старичок, Максимке бы с мыслями собраться, а старичок такое:

— Ну, хорошо, человеку все бесплатно... Согласен. Да только, на мой научный взгляд, общественное питание — это уж, извините, это сущий вздор и совершенно ложные слова. На все согласен, а тут уж к бабке Авдотье пойду. Не могу... Извините... Я, скажем, головой поработал — рыбки захотел: фосфор в рыбке. Ты языком поболтал — молочную тебе диету... А вы говорите — общественное питание. Из корыта... Да-с, молодой человек, на все соглашусь, а уж бабку-то Авдотью мне оставьте... Совершенно ложные слова.

— Да я ничего, — оробел Максимка.

И в коридор вышел. А там на лестницу, да по лестнице да вниз через три ступеньки.

На улицу вышел, нащупал деньги в кармане.

— Эх, мало денег! Где ж такое были денежки?

И пошел покачиваясь.

III

— Эй, подходи, фартовый мальчик, подходи!

— Угощай папиросочкой...

Не полюбопытствовал Максим на девочек. Встал Максим на углу и к окну прислонился. Убить не убил человека и по голове ведь не шишко тюкнул, да человеку вредно, человека жаль...

Постоял Максим и подумал, а мысли-то уж все веселые идут.

Глядит Максим королем на всех. Глазами ищет Ляльку Пятьдесят. Да нету Лялечки.

А на углу белокуренькая папиросочкой дымит и Максиму улыбается. На ней высокие сапожки до колен и шелковая юбочка фру-фру... Повернется — шумит и засмеется — шумит.

Зашумела и без слова к Максиму подошла. Подошла и тихо за руку взяла.

Да вдруг как зашумело все, затопало.

— Облава, дамочки, — вскричала белокуренькая и от Максима в сторону, в железные ворота.

За белокуренькой шагнул Максим, а на Максима человек. Весь в шпорах. Шпорами бренчит, саблей стучит, а в руке пятизарядный шпалер.

Задрожал Максим и пустился бежать.

И бежит и бежит Максим. Гремит сердце. Через Лиговку бежит — на него забор. Максим через забор, а в ноги кучи. Через кучи Максим... Пробежал еще и свалился в грязь. Да не сам свалился.

— Подножка, — сказал Максим и потрогал денежки.

А на Максима Черный вдруг насел. И мало того, что насел, а еще и душит.

— Пусти, — хрипло сказал Максим, — пусти... дышать трудно.

И Черный отпустил его слегка.

Сидит Черный на Максимке и разговаривает:

— Бежит, вижу, человек по кучам. Стой, думаю. Даром не побежит. Спасибо. Либо вор, либо от вора... Даешь денежки.

А сам уж по карманам шарит.

Ох, вытащил пачечку. Ох, вытащил другую. Ох, опять душит, сатана.

— А это что?

— Гирька, — сказал Максим и вспомнил бабкиного мужа.

— Гирька, — усмехнулся Черный и стукнул гирькой по Максимовой голове. — Беги теперь, да не оглядывайся. Беги, шпана, говорю... Стой. Гирьку позабыл. На гирьку.

Взял гирьку Максим и побежал. Пробежал немного и сел на кучу. Зачем же человека бить по голове!

IV

Посидел Максим на куче, унял сердце и в город пошел. Нужно бы домой, а ноги на Гончарную идут к Ляльке Пятьдесят. Идет Максим на Гончарную. На улицах пусто. И в сердце пусто...

А вот и Лялькин белый дом.

— Здравствуй, Лялькин милый дом.

Поднялся Максим и постучал и к Ляльке в комнату вошел. На стене ковер, на полу коврище, а в белой клетке попугай. А Лялька сидит на китайских коленях, ерошит ручкой китайские усы.

— Принес? — спросила Лялька и к Максиму подошла.

— Принес, — сказал Максим тихо. — Гони только китайскую личность. Смотреть трудно...

А китаец по-русски понимал замечательно. Обиделся и встал. И чашечку с кофеем на пол выплеснул.

— Зачем же, — говорит, — выносить такую резолюцию? Уйду и денег не заплачу.

Ушел китаец и дверкой стукнул. Максим тут к Ляльке подошел. К Ляльке наклонился и Ляльке целует щеку.

— Нет у меня денег, Лялька Пятьдесят.

— А, — вскричала Лялька Пятьдесят, — денег нет?

— Нету денег. Пожалей меня, Лялька! Очень мне трудно, без денег, пожалей, ну, скажи, что жалко.

Как закричала тут Лялька:

— А китайские убытки кто возместит?

— Есть в тебе сердце? — сказал Максим и на коврище сел и Лялькины ноги обхватил. — Есть ли сердце, спрашиваю? Птицу жалеешь? Жалеешь попку?

Как ударила тут Лялька Пятьдесят Максима — помутилось все.

Охнул Максим. Охнул, и с полу поднялся. Гирьку нашупал в кармане. Вытащил гирьку, хотел ударить по Лялькиной голове, да не ударил. Рука не посмела.

Замахнулся Максим и ударил по птичьей клетке.

Ужасно тут закричал попугай, и тонко закричала Лялька. А Максим бросил гирьку и снова на коврище сел.

— Ну, скажи, что жалко, Лялька Пятьдесят!

РАССКАЗЫ НАЗАРА ИЛЬИЧА ГОСПОДИНА СИНЕБРЮХОВА

Предисловие

Я такой человек, что все могу... Хочешь — могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь — каким ни на есть рукоеслом займусь, — все у меня в руках кипит и вертится.

А что до отвлеченных предметов, — там, может быть, рассказ рассказать, или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, — пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно.

Я даже, запомнил, людей лечил.

Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить, — жаба болезнь. Мельника того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и говорю: да, говорю, болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся, — болезнь эта внеопасная, и даже прямо тебе скажу — детская болезнь.

И что же? Стал мой мельник с тех пор кругленький и розовенький, да только в дальнейшей жизни вышел ему перетык и прискорбный случай...

А на меня многие очень удивлялись. Инструктор, товарищ Рыло, это еще в городской милиции, тоже очень даже удивлялся. Бывало придет ко мне, ну, как к своему задушевному приятелю:

— Ну, что, — скажет, — Назар Ильич, товарищ Синебрюхов, не богат ли будешь печеным хлебцем?

Хлебца, например, я ему дам, а он сядет, запомнил, к столу, пожуёт-покушает, ручками этак вот раскинет.

— Да, — скажет, — погляжу я на тебя, господин Синебрюхов, и слов у меня нет. Дрожь прямо берет, какой ты есть человек. Ты, говорит, наверное, даже державой управлять можешь.

Хе-хе, хороший был человек инструктор Рыло, мягкий.

А то начнет, знаете ли, просить: расскажи ему что-нибудь такое из жизни. Ну, я и рассказываю.

Только, безусловно, насчет державы я никогда и не задавался: образование у меня, прямо скажу, никакое, а домашнее. Ну, а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитой.

Крестьянские эти дела-делишки я уж как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть как и что.

Да только ход развития моей жизни не такой.

Вот теперь, где бы мне хозяином пожить в полное свое удовольствие, я крохобором хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская.

Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и нет — не увлекаюсь больше мужицкой жизнью.

Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники.

Скажем вот про сапоги.

Были у меня сапоги, не отпираюсь, и штаны, очень даже великолепные были штаны. И, можете себе представить, сгнули они — аминь — во веки веков в собственном своем домишке.

А сапоги эти я двенадцать лет носил, прямо скажу, в руках. Чуть какая мокрень или непогода — разуюсь и хлюпаю по грязи... Берегу.

И вот сгнули...

А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог — труба.

В германскую кампанию выдали мне сапоги штиблетами — блекота. Смотреть на них грустно. А теперь, скажем, жди. Ну, спасибо, война, может, произойдет — выдают. Да только нет, годы мои вышли и дело мое на этот счет гиблое.

А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники.

Вот для наглядности сюжета взять иностранную державу, ну, скажем Америку... Хорошо-с... Взяли: идет человек по улице, мужик американский, такой же, как и не я... Пальтишко на нем деми-сезон. Шляпка, полусапожки, может быть, замечательные...

Подходит он демонстративно к стене, поворачивает какую-нибудь там эле зримую фитюльку и:

— Ало? — говорит, — откеда?

Говорит, а сам по камню так и точет нарочно каблучком, не боится, жаба, что сапог испортит.

Ему что? Там богатство и жизненное великолепие Европы. А у нас бедность и блекота.

Ну, а рассказы мои, безусловно, из жизни и все воистинная есть правда.

Великосветская история

Фамилией Бог меня обидел — это верно: Синеврюхов, Назар Ильич.

Ну, да обо мне речь никакая, — очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение и пошла оттого моя жизнь в разные стороны, все равно, как вода, скажем, в руке — через пальцы, да и нет ее.

Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь... Да только все, может, впусую... Нету здесь такого человека, молодого князя вашего сиятельства.

Может, и ушел он из России вон, а может, и неживой теперь — казнь принял.

Так-то вот!

Был у меня задушевный приятель. Ужасно образованный человек, прямо скажу — одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по-французскому и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно — рядовой гвардеец пехотного полка.

На германском фронте в землянках, бывало, удивительные даже рассказывал происшествия и исторические всякие там вещички.

Принял я от него немало. Спасибо! Многое через него узнал и дошел до такой точки, что случилась со мной гнусь всякая, а сердцем я и по сей час бодрюсь.

Знаю: Пипин Короткий... Встречу, скажем, человека и спрошу: а кто за есть такой Пипин Короткий?

И тут-то и вижу всю человеческую образованность, все равно как на ладони. Да только не в этом штука.

Было тому... сколько?., четыре года взад. Призывает меня ротный командир в чине — гвардейский поручик и князь ваше сиятельство. Ничего себе. Хороший человек.

Призывает. Так мол и так, говорит, очень я тебя, Назар, уважаю и вполне ты прелестный человек... Сослужи, говорит, мне еще одну службишку.

Произошла, говорит, февральская революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, говорит, к старому князю в родное имение, передай вот это самое письмишко в самые то есть его ручки и жди, что скажет. А супруге, говорит, моей, прекрасной полячке Виктории Казимировне, низынько поклонись в ножки и ободрь каким ни на есть словом. Исполни, говорит, это для ради бога, а я, говорит, осчастливорю тебя суммой и пуцу в несрочный отпущ.

— Ладно, — отвечаю, — князь ваше сиятельство, спасибо за ласку, только, может, я и не стою таких ваших слов.

А у самого сердце огнем играет: эх, думаю, как бы это исполнить.

А был князь ваше сиятельство со мной все равно как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конечно, я поступил героически. Это верно.

Стою раз преспокойно на часах у княжей земляночки на германском фронте, а князь ваше сиятельство пирует с приятелями. Тут же между ними, запомнил, сестричка милосердия.

Ну, конечно: игра страстей и разнузданная вакханалия... А князь ваше сиятельство, из себя пьяньский, песни играет.

Стою. Только слышу вдруг шум в передних окопчиках. Шибко так шумят, а немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло.

«Ах ты, — думаю, — так твою так — газы!»

А поветрие легонькое этакое в нашу, в русскую сторону.

Беру преспокойно зелинскую маску (с резиной), взбегаю в земляночку...

Так, мол, и так, кричу, князь ваше сиятельство, дыши через маску — газы.

Очень тут произошел ужас в земляночке.

Сестричка милосердия — бяк, с катушек долой, — мертвая падаль.

А я сволок князеньку вашего сиятельства на волю, кострик разложил по уставу. Зажег. Лежим, не трепыхнемся... Что будет... Дышим.

А газы... Немец — хитрая сука, да и мы, безусловно, тонкость понимаем: газы не имеют права осесть на огонь.

Газы туды и сюды крутятся, выискивают нас-то... Сбоку да с верхов так и лезут, так и лезут клубом, вынюхивают...

А мы, знай, полеживаем да дышим в маску...

Только прошел газ, видим — живые.

Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается.

— Теперь, — говорит, — ты, Назар, мне все равно как первый человек в свете. Иди ко мне вестовым, осчастливь. Буду о тебе пекчись.

Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год прямо-таки замечательно.

И вот тут-то и случилось: засылает меня ваше сиятельство в родные свои места.

Собрал я свое барахлишко.

«Исполню, — думаю, — показанное, а там — к себе. Все-таки дома, безусловно, супруга нестарая и мальчичек».

Хорошо-с. В город Смоленск прибыл, а оттуда славным образом на пароходе на пассажирском в родные места старого князя.

Иду — люблюсь. Прелестный княжеский уголок и чудное, запомнил, заглавие — вилла «Забава».

Вспрашиваю: здесь ли, говорю, проживает старый князь ваше сиятельство? Я, говорю, очень по самонужнейшему делу с собственноручным письмом из действующей армии.

Это бабенку-то я спрашиваю.

А бабенка:

— Вон, — говорит, — старый князь ходит грустный из себя по дорожкам.

Безусловно: ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство.

Вид, смотрю, замечательный — сановник, светлейший князь и барон. Бородища баками пребелая-белая. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий.

Подхожу. Рапортую по-военному. Так, мол, и так, совершилась, дескать, февральская революция, вы, мол, староватенький и молодой князь ваше сиятельство в совершенном расстройстве по поводу недвижимого имущества. Сам же, говорю, жив и невредимый и интересуется, каково проживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна.

Тут и передаю секретное письмишко.

Прочел это он письмишко.

— Пойдем, — говорит, — милый Назар, в комнаты. Я, говорю, очень сейчас волнуюсь... А пока — на, возьми, от чистого сердца рубль.

Тут вышла и представилась мне молодая супруга Виктория Казимировна с дитей.

Мальчик у ней — сосун млекопитающийся.

Поклонился я низынько, спрашиваю, каково живет ребеночек, а она будто нахмурилась.

— Очень, — говорит, — он нездоровый, ножками крутит, брюшком пухнет, — краше в гроб кладут.

— Ах ты, — говорю, — и у вас, ваше сиятельство, горе такое же человеческое.

Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост.

Собрались к вечеру княжие люди на паужин. И я с ними. Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и спрашиваю:

— А что, — говорю, — хорош ли будет старый князь ваше сиятельство?

— Ничего себе, — говорят, — хороший, только не иначе как убьют его скоро.

— Ай, — говорю, — что сделал?

— Нет, — говорят, — ничего не сделал, вполне прелестный князь, но мужички по поводу февральской революции беспокоятся и хитрят.

Тут стали меня, безусловно, про революцию спрашивать. Что к чему.

— Я, — говорю, — человек неосвященный. Но произошла, говорю, февральская революция. Это верно. И низвержение царя с царицей.

Что же в дальнейшем — опять, повторяю, не освещен. Однако, прозойдет отсюда людям немалая, думаю, выгода.

Только встает вдруг один, запомнил, из кучеров. Злой мужик. Так и язвит меня.

— Ладно, — говорит, — февральская революция. Пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освещен. Что к чему и кого бить не показано. Это, говорит, допустимо? И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал?

— Может, — говорю, — и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе как землишкой разживетесь.

— А на кой мне, — ярится, — твоя землишка, если я буду из кучеров? А?

— Не знаю, — говорю, — не освещен. И мое дело — сторона.

А он говорит:

— Недаром, говорит, мужички беспокоятся — что к чему... Старосту Ивана Костыля побили ни за про что, ну, и князя, безусловно, кончат.

Так вот поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличут. Усадили меня, запомнил, в кресло, а сами такое:

— Я, — говорит, — тебе, Назар, по прямому: тени я не люблю наводить, так и так, мужички не сегодня-завтра пойдут жечь имение, так нужно хоть малехонько спасти. Ты, мол, очень верный человек, мне же, говорит, не на кого положиться... Спаси, говорит, для ради бога положение.

Берет тут меня за ручки и водит по комнатам.

— Смотри, — говорит, — тут саксонское серебро черненное и драгоценный горный хрусталь и всякие, говорит, золотые излишества. Вот, говорит, какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке.

А сам шкаф откроет — загорюется.

— Что ж, — говорю, — ваше сиятельство, я не причинен.

А он:

— Знаю, — говорит, — что не причинен, но сослужи, говорит, милый Назар, предпоследнюю службу: бери, говорит, лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, говорит, мы схороним что можно и утопчем ножками.

— Что ж, — отвечаю, — ваше сиятельство, я хоть человек и неосвещенный, это верно, а мужичкой жизнью жить не согласен. И хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его фамилия. Я, говорю, безусловно, согласен на это дело, потому, говорю, если саксонское черненное серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить.

А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички. Испытываю, что за есть такой Пипин Короткий. Тут и высказал ваше сиятельство всю свою высокую образованность. Хорошо-с...

К ночи, скажем, уснула наипоследняя собака. Беру лопату — и в гусиный сарай.

Место ощупал. Рою.

И только берет меня будто жуть какая. Всякая то есть гнусь и невидаль в воспоминанье лезет.

Копну, откину землишку — потею и рука дрожит. А умершие покойники так и представляются, так и представляются...

Рыли, помню, на австрийском фронте окопчики и мертвое австрийское тело нашли...

И зрим: когти у покойника предлинные-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит растут они в земле после смерти. И такая на нас, как сказать, жуть напала — смотреть больно. А один гвардеец дерг да дерг за ножку австрийское мертвое тело... Хороший, говорит, заграничный сапог, не иначе, как австрийский... Любуется и примеряет в мыслях и опять дерг да дерг, а ножка в руке и осталась.

Да-с. Вот такая-то гнусь мертвая лезет в голову, но копаю самосильно, принуждаюсь. Только вдруг как зашуршит что-то в углу. Тут я и присел.

Смотрю: ваше сиятельство с фонарчиком лезет — беспокоится.

— Ай, — говорит, — ты умер, Назар, что долго? Берем, говорит, сундучки поскорейча — и делу конец.

Принесли мы, запомнил, десять претяжеленных-тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками.

К утру выносит мне ваше сиятельство двадцать пять целковеньких, любуется мной и за ручку жмет.

— Вот, — говорит, — тут письмишко к молодому вашему сиятельству. Рассказан тут план местонахождения клада.

— Поклонись, — говорит, — ему — сыну и передай родительское благословение.

Оба тут мы полюбовались друг другом и разошлись.

Домой я поехал... Да тут опять речь никакая.

Только прожил дома почти-то два месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю: произошли, говорят, события, отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Вспрашиваю: где ж такое ваше сиятельство?

— Уехал, — говорят, — а куда — неизвестно.

Хорошо-с...

Штаб полка.

Являюсь по уставу внутренней службы. Так и так, рапортую, — из несрочного отпуска.

А командир, по выбору, прапорщик Лапушкин — бяк меня по уху.

— Ах, ты, — говорит, — княжий холуй, снимай, говорит, собачье мясо, воинские погоны!

Здорово, думаю, бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая...

— Ты, — говорю, — по морде не бейся. Погоны снять — сниму, а драться я не согласен.

Хорошо-с.

Дали мне, безусловно, вольные документы по чистой, и...

— Катись, — говорят, — колбаской.

А денег у меня, запомнил, ничего не было, только рубль дарёный, зашитый в ватной жилете.

«Пойду, — думаю, — в город Минск, разживусь, а там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня капиталом».

Только иду нешибко лесом, слышу — кличет кто-то.

Смотрю — посадские. Босые босячки. Крохоборы.

— Куда, — спрашивают, — идешь-катишься, военный мужичок?

Отвечаю смиренно мудро:

— Качусь, говорю, в город Минск по личной своей потребности.

— Тек-с, — говорят, — а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешечке?

— Так, — отвечаю, — кое-какое свое барахлишко.

— Ох, — говорят, — врешь, худой мужик!

— Нету, воистинная моя правда.

— Ну, так объясни, если на то пошло, полностью свое барахлишко.

— Вот, — объясняю, — теплые портянки для зимы, вот запасная блуза гимнастеркой, штаны кой-какие...

— А есть ли, — спрашивают, — деньги?

— Нет, — говорю, — извините худого мужика, денег не припас.

Только один рыжий такой крохобор, конопатый:

— Чего, — говорит, — агитировать: становись (это мне то есть), становись, примерно, вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем.

Только смотрю — нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, но отвечаю негордо:

— Зачем, отвечаю, относишься с такими словами? Я, говорю, на это совершенно даже не согласен.

— А мы, — говорят, — твоего согласия не спросим, нам, — говорят, — на твое несогласие ровно даже начихать. Становись и все тут.

— Ну, хорошо, — говорю, — а есть ли вам от казни какая корысть?

— Нет, корысти, — говорят, — нету, но мы, говорят, для ради молодчества казним, дух внутренний поддержать.

Одолел тут меня ужас смертный, а жизнь прельщает наслаждением. И совершил я уголовное преступление.

— Убиться я, — говорю, — не согласен, но только послушайте меня, задушевные босячки: имею я безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства.

И привожу им письмо.

Только читают, безусловно: гусиный сарай... саксонское серебро... план местонахождения.

Тут я оправился, «путь, думаю, неблизкий, дам теку».

Хорошо-с...

А босячки:

— Веди, — говорят, — нас, если на то пошло, к плану местонахождения клада. Это, говорят, тысячное даже дело. Спасибо, что мы тебя не казнили.

Очень мы долго шли, две губернии, может, шли, где ползком, где леском, но только пришли в княжескую виллу «Забава». А только теку нельзя было дать — на ночь вязали руки и ноги.

«Ну, — думаю, — быть беде — уголовное преступление против вашего сиятельства».

Только узнаем: до смерти убит старый князь ваше сиятельство, а прелестная полячка Виктория Казимировна уволена вон из имения.

А в имении заседает, дескать, комиссия.

Хорошо-с.

Разжились инструментом и к ночи пошли на княжий двор.

Показываю босячкам:

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот коровий хлев, вот пристрочки всякие, а вот и...

Только смотрю — нету гусяного сарая. Быдто должен где-то тут существовать, а нету. «Фу, ты, — думаю, — так твою так...» Идем обратно.

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот хлев коровий...

Нету гусяного сарая. Прямо-таки нету гусяного сарая. Обижаться стали босячки. А я аж весь двор обьялосил на брюхе и смотрю, как бы уволиться. Да за мной босячки — пугаются, что, дескать, сбегу.

Пал я тут на колени:

— Извините, — говорю, — худого мужика, — водит нас нечистая сила. Не могу признать местонахождения.

Стали тут меня бить босячки инструментами по животу и по внутренностям. И поднял я крик очень ужасный.

Хорошо-с.

Сбежались хрестьяне и комиссия.

Выяснилось: клад вашего сиятельства, а где — неизвестно.

Стал я Богом божиться — не знаю, мол, что к чему, приказано, дескать, передать письмишко, а я не причинен.

Пока хрестьяне рассуждали, что к чему, и солнце встало.

Только смотрю: светло и, безусловно, нет гусяного сарая. Вижу: ктой-то разорил на слом гусяный сарай.

«Ну, думаю, хорошо. Больно хорошо. Молчи теперь, помалкивай, Назар Ильич господин Синебрюхов».

А очень тут разгорелась комиссия. И какой-то, запомнил, советский комиссар так и орет горлом, так и прет пузом на меня...

— Ты, — говорю, — смотри пузом на меня не при, потому я, безусловно, не причинен.

А он:

— Это — говорит, — дело уголовное и статья, говорит, есть такая... Рой, кричит, хрестьянские товарищи, землишку, выколачивай все сараи, выискивай на мою голову.

Разошлись все, безусловно, по сараям, копают — свист идет, а, безусловно, ничего нету. А босячки мои сгрудились — сиг через забор, — только их и видели.

А меня скрутили, связали руки, ударили нешибко по личности и отвезли в тюрьму. А посла на общественных работах мурыжили год.

А нашли клад или не нашли — я не знаю. Я в тех местах больше не бывал.

Виктория Казимировна

В Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.

А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.

В германскую войну я три года ходил по польской земле... И нет, не люблю я полячишек. В натуре у них, знаю, всякие хитрости.

Скажем — баба. Ихняя баба в руку целует. Только взойдешь в халупу:

— Ниц нема, пан...

И сама, стерва, в руку.

Русскому человеку это невозможно.

Мужик ихний — безусловно, хитрая нация. Ходит завсегда чисто, бороденка бритая, денежку копит.

Нация их и теперь выясняется. Скажем: Верхняя Силезия... Зачем, пожалуйста, полячку Верхняя Силезия? Зачем же издеваться над германской расой?

Ну, хорошо, живи отдельной державой, имей свою денежную единицу, а к чему же еще такое несбыточное требование?

Нет, не люблю я полячишек...

А вот поди ж ты: встретил польскую паненку — и такая у меня к Польше симпатия пошла, лучше, думаю, этого народа и не бывает.

Да только ошибся.

Нашло на меня, прямо скажу, такое чудо, такой туман: что она, прелестная красавица, ни скажет, то я и делаю.

Убить человека я, скажем, не согласен — рука дрогнет, а тут убил, и другого, престарелого мельника, убил. Хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.

А сам, подумать грустно, ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бороденку даже подстриг и в подлюю ее ручку целовал.

Было такое польское местечко Крево. На одном конце — пригорок — немцы окопались. На другом — обратно пригорок — мы окопчики взрыли, и польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками в овраге.

Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева и, как бы сказать, добришко кому покинуть грустно — остались. И как они так существовали — подумать странно.

Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они — ничего, живут себе прежней жизнью.

Ходили мы к ним в гости.

Бывало в разведку либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу.

К мельнику все больше ходили.

Мельник такой существовал престарелый. Баба его сказывала: имеет, говорит, он деньжонки капиталом, да только не говорит где. Будто обещал сказать перед смертью, а пока чегой-то пугается и скрывает.

А мельник, это точно, скрывал свои деньжонки.

В задушевной беседе он мне все и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.

— Пусть, — говорит, — они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки — оберут как липку и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.

Мельника этого я понимал и ему сочувствовал. Да только какое уж там, сочувствовал, семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, заметил я, синий.

Хорошо-с. Баловали они старичка.

Старик кобенится и финтит, а они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.

А была у мельника семья: баба его престарелая, да неродная дочка, прелестная паненка Виктория Казимировна.

Я вот рассказывал великосветскую историю про клад князя вашего сиятельства — все воистинная есть правда: и босячки-крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. И быть ее не могло. Была она в другой раз и по другому делу... Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника.

И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения... Только, помню, пришли раз к мельнику. Сидим — хихикаем, а Виктория Казимировна все, замечаю, ко мне ластится: то, знаете ли, плечиком, то ножкой.

«Фу, ты, — восхищаюсь, — так твою так — случай». А сам все же пока остерегаюсь, отхожу от нее да отмалчиваюсь.

Только попозже берет она меня за руку, любит меня мной.

— Я, — говорит, — господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить (так и сказала). И уже имею что-то в груди. Только, говорит, есть у меня до вас просьбишка: спасите, говорит, меня для ради бога. Желая, говорит, уйти из дому в город Минск, или еще в какой-нибудь там польский город, потому что — сами видите — погибаю я здесь курам на смех. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нуж-

но выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, говорит, против отца не злоупотребляю, но не сегодня-завтра он, безусловно помрет, болезнь у него — жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет.

Начал я тут удивляться, а она прямо-таки всхлипывает, смотрит в мои очи, любится.

— Ах, — говорит, — Назар Ильич господин Синебрюхов, вы — самый здесь развитой и прелестный человек и как-ни будь вы это сделаете.

Хорошо-с. Придумал я такую хитрость: скажу старичку, дескать, выселяют всех из местечка Крево... Он, безусловно, вынет свое добро... Тут мы и заставим его поделить.

Прихожу на завтра к ним, сам, знаете ли, бороденку подстриг, блюзу-гимнастерку новую надел, являюсь прямо-таки парадным женишком.

— Сейчас, — говорю, — Викторичка, все будет исполнено.

Подхожу демонстративно к мельнику.

— Так и так, — говорю, — теперь, говорю, вам, старичок, каюк-компания — выйдет завтра приказ: по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крево.

Ох, как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке... И сам как был в нижних подштанниках — шась за дверь и слова никому не молвил.

Вышел он на двор и я тихонько следом.

А дело ночное было. Луна. Каждая даже травинка виднеется. И идет он весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь.

А, немец, помню, что-то тогда постреливал. Только прошел он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет. Ойкнет и за грудь скорей. Смотрю — и кровь по белому каплет.

«Ну, — думаю, — произошла беда — пуля».

Повернулся он, смотрю, назад, руки опустил и к дому.

Да только, смотрю, пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная.

Забежал я к нему, сам пугаюсь — хватъ да хватъ его за руку, а рука холодеет, и смотрю: в нем дыханья нет — покойник. И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит — земля к себе покойника требует.

Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел по ступью смертной до постельки, тут и скоился.

И такой в халупе страх настал, — сидим и дышать даже жутко.

Так вот помер мельник через меня и сгинули — аминь во веки веков — его деньжонки капиталом.

А очень тут загрустила Виктория Казимировна. Плачет она и плачет и всю неделю плачет — не сохнут слезы.

А как приду к ней — гонит и видеть меня не может.

Так прошла, запомнил, неделя, являюсь к ней. Слез, смотрю, нету и подступает она ко мне даже любовно.

— Что ж, — говорит, — ты сделал, Назар Ильич господин Синебрюхов? Ты, говорит, во всем виноват, ты теперь и раскаивайся. Достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, говорит, ты первый для меня преступник, и уйду я, знаю куда, в обоз, — звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часишки браслетой.

Покачал я прегорько головой, дескать откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низынько:

— Пойду, — говорит, — поджидает-ждет меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич господин Синебрюхов!

— Стой, — говорю, — стой, Виктория! Дай, говорю, срок, — дело это обдумать надо!

— А чего, — говорит, — его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.

И осенила тут меня мысль.

«На войне, — думаю, — все можно. Будут, может, немцы наступать — пошурю по карманам, если на то пошло». А вскоре и вышел подходящий случай.

Была у нас в окопах пушечка... Эх, дай бог память — Гочкис заглавие. Морская пушечка Гочкис.

Дульце у ней тонехонькое, снаряд — и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески не слабо. Стрельнет и норовит взорвать, что побольше.

Над ней и командир был — морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но — сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто.

А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп.

Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и — пушечка. Германии она очень досаждала. В польский костел она била по кумполу, потому был там германский наблюдатель.

По пулеметам тоже била.

И прямо немцам она не давала никакого спасения.

Так вот вышел случай.

Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть — затвор. И при том унесли пулемет. И как это случилось — удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, сволочь такая худая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.

Ну, ладно. Пошел.

Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.

А случилось: немцы пушечкин затвор стибрили.

К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой, безусловно, мертвый и кругом — кража.

Ох, и было же что тогда!

Морской подпоручик Винча тигрой на меня наскакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску — веером три карты.

А к вечеру едет — волнуется генерал ваше превосходительство.

Ничего себе, хороший генерал.

Взглянул на взвод, и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.

Усмехнулся генерал.

— Выходи, — говорит, — отборные орлы, налетай на немцев, разорь внешний врага.

Вышли тут, запомнил, пять человек и я с ними. Генерал ваше превосходительство восхищается нами.

— Ночью, — говорит, — летите, отборные орлы. Режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет и, если случится, — пушечкин затвор.

Хорошо-с...

К ночи мы и пошли.

Я-то играючи пошел. Мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул.

В одна тыща девятьсот, должно быть, что в шестнадцатом году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него — клетка, а в клетке — не попка, — попка та зеленая, — а тут вообще какая-то тропическая птица. Так она, сволочь такая, *ученая*, клювом вынимала счастье — кому что. А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до 90 лет.

И еще там многое что предсказано, что — я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.

И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи.

Подошли мы к немецкой проволоке. Темь. Луны еще не было. Прорезали преспокойно лаз. Спустились вниз, в окопчики в германские. Прошли шагов с полета — пулемет — пожалуйста.

Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же...

Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной кошмар.

Хорошо-с.

Сняли пулемет с катков, разобрали кому что: кому катки, кому ящики, а мне, запомнил, подсунули, так их так, самую что ни на есть тяжесть — тело пулемета.

И такой, провались он совсем, претяжеленный был: те налегке — шаг да шаг и скрылись от меня, а я пыхчу с ним — затрудняюсь. Мне бы наверх ползти, да смотрю — проход сообщения. Я в проход сообщения... А из-за угла вдруг германец прездоровенный-здоровенный и

наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул.

Только чую — германец стрельнуть хочет, голова на мушке.

Другой оробел бы, другой — ух, как оробел бы, а я ничего — стою, не трепыхнусь даже. А поверни я только спину, либо шелкни затвором — тут, безусловно, мне и конец.

Так вот стоим друг против дружки, и всего-то до нас пять шагов. Зрим друг друга глазами и ждем, кто победит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад... Тут я в него и стрельнул. И вспомнил свою мыслишку. Подполз к нему, пошарил по карману — противно. Ну, да ничего — перевозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все часишки в футляре носят), взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки — нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти?

Стал я через проволоку продираться — трудно. Может быть, час или больше лез, всю прорвал себе спину и руки совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вздыхнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать, — кровь так и льет.

И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает. Хотел было я бежать, да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли по русскому огонь, и, конечно, поползи я, тут бы меня приметили и убили.

А место, смотрю, вполне открытое было и подальше травы даже нет — лысое место. А до халуп шагов триста.

Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич господин Синябрюхов, благо трава спасет.

Хорошо. Лежу.

А немцы, может быть, очень обиделись: стибрили у них пулемет и двоих почем зря убили, — мстят — стреляют, прямо скажу, без остатков.

К полдню перестали стрелять, да только, смотрю, чуть кто проявится в нашей, в русской стороне, так они туда и метят. Ну, значит, думаю, безусловно, они на стороже, и нужно лежать до вечера.

Хорошо-с.

Лежу час. И два лежу. Интересуюсь бумажником — денег немало, только все иностранные. Часишками люблюсь. А солнце прямо так и бьет в голову и дух у меня замирать стал. И жажда. Стал я тут думать про Викторию Казимировну, только смотрю — сверху на меня ворон спускается.

Я лежу живой, а он, может, думает, что падаль, и спускается.

Я на него тихонько шикаю:

— Шш, — говорю, — пошел, провал тебя возьми!

Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на меня насадет.

И ведь такая птичья сволочь — прямо на грудь садится, а поймать я никак его не поймаю — руки изувечены, не гнутся, а он еще бьется больно клювом и крылами.

Я отмахнусь — он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и шипит даже. Это он кровь, гадюка, на руке чувствует.

«Ну, думаю, — пропал, — Назар Ильич господин Синебрюхов! Пуля не тронула, а тут птичья нечисть, прости господи, губит человека зря.

Немцы, безусловно, сейчас заприметят, что такое приключилось тут за проволокой. А приключилось: ворон при жизни человека жрет».

Бились так мы долго. Я все норовлю его ударить, да только перед германцем остерегаюсь, а сам прямо-таки чуть не плачу. Руки у меня и так-то изувечены — кровь текет, а тут еще он шиплет. И такая злоба к нему напала, только он на меня устремился, как я на него крикну: кыш, кричу, сволочь паршивая!

Крикнул и, безусловно, немцы сразу услышали. Смотрю, змеей ползут германцы к проволоке.

Вскочил я на ноги — бегу. Винтовка по ногам бьется, а пулемет на-земь тянет. Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я и к земле не припадаю — бегу.

И как я добежал до первых халуп, прямо скажу — не знаю. Только добежал, смотрю — из плеча крова текет — ранен. Тут по за халупами шаг за шагом дошел до своих и скопился замертво. А очнулся, запомнил, в обозе в полковом околотке.

Только хватать-похватать за карман — часишки тут, а кабаньего бумажника как не бывало. То ли я на месте его оставил — ворон спря-тать помешал, то ли выкрали санитары.

Заплакал я прегорько, махнул на все рукой и стал поправляться.

Только узнаю: живет у прапорщика Лапушкина здесь в обозе прелестная полячка Виктория Казимировна.

Хорошо-с.

Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием и являюсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину.

Вхожу в халупу.

— Вздравствуйте, — говорю, — ваше высокоблагородие и здравст-вуйте, пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна.

Тут, смотрю, смутились они оба. А он встает, ее заслоняет.

— Чего, — говорит, — тебе надобно? Ты, говорит, давно мне при-мелькался, под окнами треплешься. Ступай, говорит, отсюда, так твою и так...

А я грудь вперед и гордо так отвечаю:

— Вы, говорю, хоть и состоите в чине, а дело тут, между прочим, гражданское и имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, гово-рю, она, прелестная полячка, сама сделает нам выбор.

Как закричал он на меня:

— Ах, ты, — закричал, — сякой-такой водохлеб! Как же ты это сме-ешь так выражаться... Снимай, говорит, Георгия, сейчас я тебя навер-но ударю.

— Нет, — отвечаю, — ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, а у вас, говорю, руки короткие.

А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет.

Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется.

Вздыхнул я прегорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе.

Только вышел за дверь, слышу кто-то топочет ножками.

Смотрю: Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трикотажный платочек.

Подбежала она ко мне, в руку впиалась цапастьенькими коготками, а сама и слова не может молвить. Только секундочка прошла, целует она меня прелестными губами в руку и сама такое:

— Низынько кланяюсь вам, Назар Ильич господин Синебрюхов... Простите меня такую-то для ради бога, да только судьба у нас разная...

Хотел я было упасть тут же, хотел было сказать что-нибудь такое — да вспомнил все, перевозмог себя.

— Нету, — говорю, — тебе, полячка, прощения во веки веков.

Чертювинка

Жизнь я свою не хаю. Жизнь у меня, прямо скажу, роскошная. Да только нельзя мне, заметьте, на одном засиженном месте сидеть да бороденку почесывать.

Все со мной чтой-то такое случается... Фантазии я своей не доверяю, но какая-то, может быть, чертювинка препятствует моей хорошей жизни.

С германской войны я, например, рассчитывал домой уволиться. Дома, думаю, полное хозяйство. Так нет, навалилось тут на меня, прямо скажу, за ни про что все-всякое. Тут и тюрьма, и сума, и пришлось даже мне, такому-то, идти наниматься рабочим батраком к своему задушевному приятелю. И это, заметьте, при полном своем семейном хозяйстве.

Да-с.

При полном хозяйстве нет теперь у меня ни двора, ни даже куриного пера. Вот оно какое дело!

А случилось это вот как.

Из тюрьмы меня уволили, прямо скажу, нагишом. Из тюрьмы я вышел разутый и раздетый.

Ну, думаю, куда же мне такому-то голому идти — домой являться? Нужно мне обжиться в Питере.

Поступил я в городскую милицию. Служу месяц и два служу, состою все время в горе, только глядь-поглядь — нету двух лет со дня окончания германской кампании.

Ну, думаю, пора и ехать, где бы только разжиться деньжонками.

И вот вышла мне такая встреча.

Стою раз преспокойно на Урицкой площади, смотрю, какой-то прет на меня в суконном галифе.

— Узнаешь ли, — спрашивает, — Назар Ильич господин Синехрухов? Я, говорит, и есть твой задушевный приятель.

Смотрю: точно — личность знакомая. Вспоминаю: безусловно, задушевный приятель, — Утин фамилия.

Стали мы тут вспоминать кампанию, стали радоваться, а он, вижу, чего-то гордится, берет меня за руку.

— Хочешь, — говорит, — знать мою биографию? Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост в советском имении.

— Что ж, — отвечаю, — дорогой мой приятель Утин, всякому свое, всякий, говоря, человек дает от себя какую-нибудь пользу. Ты же человек одаренный качествами, и я по сейчас вспоминаю всякие твои исторические рассказы и переживания. И Пипина Короткого, говорю, помню. Спасибо тебе немало!

А он вдруг мной восхитился.

— Хочешь, — говорит, — поедем ко мне, будем жить с тобой, в обнимку и по-приятельски.

— Спасибо, — говорю, — дорогой приятель Утин, рад бы, да нужно торопиться мне в родную свою деревеньку.

А он вынул откуда-то кожаный бумажник, отрыл десять косых.

— На, — говорит, — возьми, если на то пошло. Поезжай в родную свою деревню, либо так истрать, — мне теперь все равно.

Взял я деньжонки и адрес взял.

«Что ж, — думаю, — и я ему немало сделал, а тут вполне прекрасный случай, — поеду теперь в деревню».

А это верно: на фронте я его всегда покрывал. Там, скажем, бой или разведка, я — прямо к ротному командиру. Так и так, отвечаю. Утина никак нельзя послать. Ну, не дай бог, пуля его пристрелит, — человек он образованный и погибнет с ним большое знание.

И через меня устроили его на длинномер, — так он всю свою жизнь, всю то есть германскую кампанию и мерил шаги до германских окопчиков.

Так вот произошла такая с ним встреча, и вскоре после того собрался я и поехал в родные свои места.

И вот, запомнил, подхожу к своей деревеньке походным порядком, люблюсь каждой даже ветошкой, восторгаюсь, только смотрю — ползет навстречу поп.

«Ну, — думаю, — будет теперь беда-бедишка». А сам, безусловно, подхожу к нему.

— Здравствуйте, — говорю, — батюшка отец Сергей! Вполне прелестный день.

Как шатнется он от меня в сторону.

— Ой-ё-ёй, — говорит, — взаправду ли это ты, Назар Ильич Синехрухов, или мне это образ представляется?

Да, — говорю, — взаправду, батюшка отец Сергей, а что, говорю, случилось — ответьте мне для ради бога.

— Да как же, — говорит, — что случилось? Я по тебе живому панихидки служу и все мы почитаем тебя умершим покойником, а ты вон как... А супруга, говорит, твоя, можешь себе представить, живет даже в советском браке с Егор Иванычем.

— Ой-ё-ёй, — отвечаю, — что же вы со мной такоеча сделали!

Очень я растрогался, сам дрожу.

Ну, думаю, вот и беда-бедишка.

Ничего я попу больше не сказал и потрусил к дому.

Взбегаю в собственный, заметьте, домишко, смотрю — уже сидят двое: баба моя Матрена Васильевна Синебрюхова, да Егор Иваныч. Чай кушают. Поклонился я низынько.

— Чай, — говорю, — вам да сахар! Что же тут такоеча приключилось, Егор Иваныч Клопов, не томите меня для ради Бога.

А сам не могу больше терпеть и по углам осматриваю свое добришко.

Вот, смотрю, спасибо, сундучок, вот и штаны мои любезные висят, и шинелька все на том же месте.

Только вдруг подходит ко мне Егор Иваныч, ручкой этак вот передо мной крутит.

— Ты, — говорит, — чужие предметы руками не тронь, а то, говорит, я сам за себя не отвечаю.

— Как же, — намекаю, — чужие предметы, Егор Иваныч, если это, безусловно, мои штаны? Вот тут даже, взгляните, химический подпис: Ен Синебрюхов.

А он:

— Нет тут твоих штанов и быть их не может, тут, — говорит, — все мое добришко пополам с Матреной Васильевной.

А сам берет Матрену Васильевну за локоток и за ручку, выводит ее, например, на середину.

— Вот, — говорит, — я, а вот — законная супруга моя, драгоценная Матрена Васильевна. И все, не сомневайтесь, по закону и подпись Лена.

Тут поклонилась мне Матрена Васильевна.

— Да, — отвечает, — воистинная все это правда. Идите себе с Богом, Назар Ильич Синебрюхов, не мешайте для ради бога постороннему счастью.

Очень я опять растрогался, вижу — все пошло прахом, и ударил я тут Егор Иваныча. И ударил, прямо скажу, не по злобе и не шибко ударил, а так, для ради собственного блезиру. А он, гадюка, упал нарочно навзничь. Ногами крутит и кровью блюет.

— Ой-ё-ёй, — кричит, — убийство.

Стали тут собираться мужички. И председатель тоже собрался. Фамилия — Рюха. Начали тут кричать, начали с полу Егор Иваныча поднимать...

А только смотрю — многие прямо-таки мной восхищаются и за меня горой стоят и даже подзюкивают в смысле Егор Иваныча.

— Побей, — подзюкивают, — Егор Иваныча, а мы, говорят, в общей куче еще придадим ему и даже, может быть, нечаянно произойдет убийство.

Только замечаю: председатель Рюха перешептался с Егор Иванычем и ко мне подходит.

— Ты что ж это, — говорит, — нарушаешь тут беспорядки? Что ж ты, так твою так, выступаешь супротив Ленина? Контр твоя революция нам теперь вполне известна, и даже если на то пошло, есть у меня свидетели.

Вижу — человек обижается, я ему тихеньким образом внедряю:

— Я, — говорю, — беспорядков не нарушаю. Ни отнюдь. Но, говорю, как же так, если это мое добришко, так имею же я право руками трогать? И штаны, говорю, мои, взгляните — химический подпис.

А он, гадюка, вынимает какую-нибудь там бумагу и читает.

— Нет, — говорит, — ничего тут не выйдет. Подпись Ленина. Лучше, говорит, ушел бы ты куда ни на есть. Сам посуди: суд да дело, да уголовное следствие, — все это — год или два, а жрать-то тебе, безусловно, нужно. И к тому же, может быть, выяснится, что ты — трудовой дезертир.

И так он обернул все это дело, что поклонился я всем низынько.

— Ладно, — отвечаю, — уйду куда ни на есть. Прощайте и Бог вам свидетель! Только пусть ответит мне Матрена Васильевна, где же родной мой сын, мальчишек Игнаша?

А она, жаба, отвечает тихими устами:

— Сын ваш, мальчишек Игнаша, летось еще помер от испанской болезни.

Заскрипел я зубами, оглянулся на четыре угла — вижу все мое любезное висит, поклонился я в другой раз и вышел тихохонько.

Вышел я за деревню. Лес. Присел на пенек. Горюю. Только слышу кто-то трется у ноги.

И вижу: трется у ноги сучка небольшая, белая. Хвостиком она так и крутит, скулит, в очи мне смотрит и у ноги так и вьется.

Заплакал я прегорько, ласкаюсь к сучке.

— Куда же, — спрашиваю, — нам с тобой, сучка, приткнуться?

А она как завоет тонехонько, как заскулит, как завьется задом, так пошла даже у меня сыпь по телу от неизвестного страха.

И вот тут я глянул на нее еще раз и задрожал.

«Откуда же, — думаю, — взяться тут сучке?»

Так вот подумал, вскочил быстренько и, безусловно, от нее ходу.

«Эге, — думаю, — это неспроста, это, может, и есть моя чертовинка во образе небольшой сучки».

Иду это я шибко, только смотрю — за мной катится.

Я за дерево схоронился, а она травинку нюх да нюх, понюхрила и, вижу, меня нашла, снова у ноги вьется и в очи смотрит. И такой на меня трепет напал, что закричал я голосом и побежал.

Только бегу по лесу — хрясь идет, а она за мной так скоком и скачет, так меня и достигает.

И сколько я бежал — не помню, только слышу будто внутренний голос просит:

«Упань... упа-ань...»

Упал я тут наземь, зарылся головой в траву, и начался со мной кошмар. Ветер ли зашуршит по верху, либо ветошка обломится, — мне теперь все равно, мне все чудится, что достигает меня сучка и вот-вот зубами взгрызется и, может быть, перекусит горло и будет кровь сосать.

Так вот пролежал я час или, может быть, два, голову поднять не смею, и стал забываться.

Может быть, я тут заснул — не знаю, только утром встаю: трется у ноги сучка. А во мне будто страху никакого и нет и даже какой-то смех внутренний выступает.

Погладил я сучку по шерстке, сам, безусловно, еще остерегаюсь.

— Ну, — говорю, — нужно нам идти. Есть, говорю, у меня такой задушевный приятель Утин. К нему мы и пойдем. Будем с ним жить в обнимку и по-приятельски.

Так вот я сказал ей, будто у нас вчера ничего и не было. Встаю и иду тихонечко. Она, безусловно, за мной.

Прихожу, например, в одну деревню, спрашиваю:

— Это, — говорят, — очень даже далеко и идти туда нужно, может быть, пять ден.

— Ой-ё-ёй, — говорю, — что же мне такоеча делать? Дайте, говорю, мне, если на то пошло, полбуханки хлеба.

— Что ты, — говорят, — что ты, прохожий незнакомец, тут кругом все голодуют и сами возьмут, если дастишь.

Так вот не дали мне ничего, и в другой деревне тоже ничего не дали, и пошел я вовсе даже голодный с белой своей сучкой.

Да еще, не вспомню уж откуда, увязался за нами преогромный такой пес — кобель.

Так вот иду я сам-третий, голодную, а они, безусловно, нюх да нюх и найдут себе пропитание.

И так я голодовал в те дни, провал их возьми, что начал кушать всякую нечисть и блекоту, и съел даже, запомнил, одну лягуху.

Теперь вот озолоти меня золотом — в рот не возьму, а тогда съел.

Было это, запомнил, к концу дороги. К вечеру я, например, очень ослаб, стал собирать грибки да ягодки, смотрю — скачет.

И вспомнил: говорил мне задушевный приятель, что лягух, безусловно, кушают, в иностранных державах, и даже вкусом они вкусней рябчиков. И будто сам он ел и похваливал.

Поймал я тогда лягуху, лапишки ей пообрывал. Кострик, может быть, разложил и на согретый камушек положил пекчись эти ножки.

А как стали они печеные, дал одну сучке, а та ничего — съела.

Стал и я кушать.

Вкуса в ней, прямо скажу, никакого, только во рту гадливость.

Может быть, ее нужно с солью кушать — не знаю, но только в рот ее больше не возьму.

Все-таки съел я ее, любезную. Поблевал малехонько. Заел еще грибочками и побрел дальше.

И сколько я так шел — не помню, только дошел до нужного места.

Вспрашиваю:

— Здесь ли проживает задушевный приятель Утин.

— Да, — говорят, — безусловно, здесь проживает задушевный приятель Утин. Взойдите вот в этот домишко.

Взошел я в домишко, а сучка у меня, заметьте, в ногах так и вьется и кобель сзади. И вот входит в зальце задушевный приятель и удивляется:

— Ты ли это, Назар Ильич товарищ Синебрюхов?

— Да, — говорю, — безусловно. А что, говорю, такоеча?

— Да нет, — говорит, — ничего. Я, говорит, тебя не гоню и супротив тебя ничего не имею, да только как же все это так?

Тогда я отвечаю ему гордо:

— Я, отвечаю, дорогой мой приятель Утин, вижу, что ты не рад, но я, говорю, пришел не в гости гостить и не в обнимку жить. Я, говорю, пришел в рабочие батраки наняться, потому что нету мне теперь ни кола, ни даже куриного пера.

Подумал это он.

— Ну, — говорит, — ладно. Лучше меня, это знай, человека нет! Я, говорит, каждому отец родной. Я, говорит, тебя чудным образом устрою. Становись ко мне рабочим по двору.

И вдруг, замечайте, всходит из боковой дверюшки старичок. Чистенький такой старикан. Блюза на нем голубенькая, подпоясок, безусловно, шелковый, а за подпояском — платочек носовой. Чуть что — сморкается в него, либо себе личико обтирает. А ножками так и семечит по полу, так, гадюка, и шуршит новыми полсапожками.

И вот подходит он ко мне.

— Я, — говорит, — рекомендуюсь: папаша Утин. Чего это ты, скажи пожалуйста, приперся с собаками? Я, говорит, имейте в виду, собачка не люблю и терпеть их ненавижу. Они, мол, всюду гадят и кусаются.

А сам, смотрю, сучку мою все норовит ножкой своей толкануть.

И так он сразу мне не понравился, и сучке моей, вижу, не понравился, но отвечаю ему такое:

— Нет, говорю, старичок, ты не пугайся, они не кусачие...

Только это я так сказал, сучка моя как заурчит, как прыгнет на старичка, как куснет его за левую ручку, так он тут и скопился.

Подбежали мы к старичку...

И вдруг, смотрю, исчезла моя сучка. Кобель, безусловно, тут, кобель, замечайте, не исчез, а сучки нету.

Люди после говорили, будто видели ее на дворе, да только не знаю, не думаю... Дело это совершенно темное и удивительное...

Так вот подошли мы к старичку. Позвали фершала.

Фершал ранку осмотрел.

— Да, — говорит, — это собачий укус небольшой сучки. Ранка небольшая. Маленькая ранка. Не спорю. Но, говорит, наука тут совершенно бессильна. Нужно везть старичка в Париж, — наверное, сучка была бешеная.

Услышал это старичок, задрожал, увидел меня.

— Бейте, — закричал, — его! Это он подзюкал сучку, он на мою жизнь покусился. Ой-ё-ёй, говорит, умираю и завещаю вам перед смертью: гоните его отсюда.

«Ну, — думаю, — вот и беда-бедишка».

А подходит тут ко мне задушевный приятель Утин.

— Вот, — говорит, — Бог, а вот тут — порог. Больше мы с тобой не приятели!

Взял я со стола ломочек хлеба, поклонился на четыре угла и побрел тихохонько.

Гиблое место

Много таких же, как и не я, начиная с германской кампании, ходят по русской земле и не знают, к чему бы им такое приткнуться.

И верно. К чему приткнуться человеку, если каждый предмет, заметьте, свиное корыто даже, имеет свое назначение, а человеку этого назначения не указано.

А мне от этого даже жутко.

И таких людей видел я немало и презирать их не согласен. Такой человек — мне лучший друг и дорогой мой приятель.

Конечно, есть такие гиблые места, где и другие тоже ходят. Страшные. Но такого страшного жулика я сразу вижу. Взгляну и вижу, какой он есть человек.

Я их даже, гадюк, по походке, может быть, отличу, по самомалейшей черточке увижу.

Я вот, запомнил, встретил такого человека. О нем мне и посейчас жутковато вспоминать.

Я в лесу его встретил.

Так вот, представьте себе — пенек, а так — он сидит. Сидит и на меня глядит.

А я иду, знаете ли, смело и его будто и не примечаю.

А он вдруг мне и говорит:

— Ты, говорит, это что?

Я ему и отвечаю:

— Вы, говорю, не пугайтесь, иду я, между прочим, в какую-нибудь там деревню на хлебородное местечко в рабочие батраки.

— Ну, — говорит, — и дурак (это про меня то есть). Зачем же ты идешь в рабочие батраки, коли я, может быть, желаю тебя осчастливить? Ты, говорит, сразу мне приглянулся наружной внешностью и беру я тебя в свои компаньоны. Привалило тебе немалое счастье.

Тут я к нему подсел.

— Да что ты? — отвечаю. — Мне бы, говорю, милый ты мой приятель, вполне бы неплохо сапожонками раздобыться.

— Гм, — говорит, — сапожонками... Дивья тоже. Тут, говорит, вопрос является побольше. Тут вопрос очень даже большой.

И сам чудно как-то хихикает, глазом мне мигун мигает и все говорит довольно хитрыми выражениями.

И смотрю я на него: мужик он здоровенный и высокоуший и волосы у него, заметьте, так отовсюду и лезут, прямо-таки лесной человек. И ручка у него тоже... Правая ручка вполне обыкновенная, а на левой ручке пальцев нет.

— Это что ж, — спрашиваю, — приятель, на войне пострадал, в смысле пальцев-то?

— Да нет, — мигает, — зачем на войне? Это, говорит, дельце было. Уголовно-политическое дельце. Бякнули меня топором по случаю.

— А каков же, — спрашиваю, — не обидьтесь только, случай-то?

— А случай, — говорит, — вполне простой: не клади лапы на чужой стол, коль топор острый.

Тут я на него еще раз взглянул и увидел, что он за человек. А после немножко оробел и говорю:

— Нет, говорю, милый ты мой приятель. Мне с тобой не по пути. Курс у нас с тобой разный. Я говорю, не согласен идти на уголовно-политическое дело, имейте это в виду.

Так вот ему рассказал это, встал и пошел. А он мне и кричит:

— Ну, и выходит, что ты дурак и старая сука (это на меня то есть). Пошел, проваливай, куда целый.

Я, безусловно, за березку, да за сосну и теку.

И вот, запомнил, пришел в деревню, выбрал хату наибогатенькую. Зашел.

Жил-был там мужик Егор Саввич. И такой, знаете ли, прелестный говорун мужик этот, Егор Саввич, что удивительно даже подумать. Усадил он меня, например, к столу, хлебом попотчевал.

— Да, — отвечает, — это можно. Я возьму тебя в работники. Пожалуйста. Что другое — не знаю, может быть, ну, а это — сделайте ваше великое удовольствие — могу. Делов тут хоть и не много, да зато мне будет кое с кем словечком переткнуться. А то баба моя — совсем глупая дура. Ей бы все пить да жрать, да про жизнь на картишках гадать. Можете себе представить. Только, говорит, приятный ты мой, по совести тебе скажу, место у нас тут гиблое. Народу тут множество-многое до смерти испорчено. Босячки всякие так и ходят под флагом бан-

дитизма. Поп вот тоже тут потонул добровольно, а летом, например, матку моей бабы убили по случаю. Тут, приятный ты мой, места вполне гиблые. Смерть так и ходит, косьем помахивает.

Так вот поговорили мы с ним до вечера, а вечером баба его кушать подает.

Припал я тут к горяченькому, а он, Егор Саввич, так и говорит, так и поет про разные там дела-делишки и все клонит разговор на самые жуткие вещи и приключения и сам дрожит и пугается.

Рассказал он мне тогда, запомнил, случай, как бабку Василису убили. Как бабка Василиса на корячках у помойной кучи присела, а он, убийца, так в нее и лепит из шпалера и все, знаете ли, мимо. Раз только попал, а после все мимо.

А дельце это такое было.

Пришли к ним, например, два человека и за стол без слова сели. А бабка Василиса покойница — яд была бабка. Может быть, матка у ней была из полячишек.

Ладно. Бабка Василиса видит, что смело они так сели, и к ним.

— Вы, — говорит, — кто ж такие будете, красные, может быть, или, наверное, белые?

Что они такое ответили — я не слышал, я, скажу по правде, за квасом в тот момент вышел.

Но только прихожу — бабка Василиса очень даже яростно с ними грызется и в голос орет. А один такой беловатый из себя уставился на нее, как козел на воду, и после хватить ее за руку без объяснения причин и потащил ко двору.

Да-с, вот каков был случай.

Я тогда Егор Саввича, запомнил, даже побранил по-всякому.

— Чего ж это ты, — побранил, — за бабку-то не вступился? Явление это вполне недопустимое.

А он:

— Да, — говорит, — недопустимое, сознаю, но говорит, если б она мне родная была матка, то — да, то я, я очень вспылчивый человек, я, может быть, зубами бы его загрыз, ну, а тут не родная она мне матка, — бабы моей матка. Сам посудите, зачем мне на рожон было лезть?

Спорить я с ним не стал, меня ко сну начало клонить, а он так весь и горит и все растревляет себя на страшное.

— Хочешь, — говорит, — я тебе еще про попа расскажу? Очень, говорит, это замечательное явление из жизни.

— Что ж, — отвечаю, — говори, если на то пошло. Ты, говорю, теперь хозяин.

Начал он тут про попа рассказывать, как поп потонул.

— Жил-был, — говорит, — поп Иван, и можете себе представить...

Говорит это он, а я слышу — стучит ктой-то в дверь и голос-бас войти просит.

И вот, представьте себе, всходит этот самый беспалый, с хозяином здорвается и мне все мигун мигает.

— Допустите, — говорит, — переночевать. Ночка, говорит, темная, я боюсь. А человек я богатый.

И сам, жаба, кихикает.

А Егор Саввич так в мыслях своих и порхает.

— Пусть, — говорит, — пусть. Я ему про попа тоже расскажу. Жил-был, говорит, поп и, можете себе представить, ночью у него завыла собака.

А я взглянул в это время на беспалого, — ухмыляется, гадюка. И сам вынимает серебряный портсигарчик и папироску закуривает.

«Ну, — думаю, — вор и сибиряк. Не иначе, как кого распотрошил. Ишь ты какую вещь стибрил».

А вещь — вполне роскошный барский портсигар. На нем, знаете ли, запомнил, букашка какая-нибудь, свинка...

Оробел я снова и говорю для внутренней бодрости:

— Да, — говорю, — это ты, Егор Саввич, например, про собаку верно. Это неправда, что смерть — старуха с косой. Смерть — маленькое и мохнатенькое, катится и кихикает. Человеку она незрима, а собака, например, ее видит и кошка видит. Собака, как увидит — мордой в землю уткнется и воет, а кошка — та фырчит и шерстка у ней дыбком станвится. А я вот, говорю, такой человек, смерти хотя и не увижу, но убийцу замечу издали и вора, например, тоже.

И при этих моих словах на беспалого взглянул.

Только я взглянул, а на дворе:

— У... у...

Как завоет собака, так мы тут и зажались.

Смерти я не боюсь, смерть мне очень даже хорошо известна по военным делам, ну, а Егор Саввич — человек гражданский, частный человек.

Егор Саввич как услышал «у... у...», так посерел весь, будто лунатик, заметался, припал к моему плечу.

— Ох, — говорит, — как вы хотите, а это, безусловно, на мой счет. Ох, говорит, моя это очередь. Не спорьте.

Смотрю — и беспалая жаба сидит в испуге. Егора Саввича я утешаю, а беспалая жаба такое:

— С чего бы, — говорит, — тут смерти-то ходить? Давай те, говорит, лягем спать поскорейча. Завтра-то мне (замечайте) чуть свет вставать.

«Ох, — думаю, — хитрый мужик, сволочь такая, и как красноречиво выказывает свое намеренье. Ты только ему засни, а он тиликнет тебя, может быть, топориком и — баста, чуть свет уйдет. Нет, думаю, не буду ему спать, не такой я еще человек темный».

Ладно. Пес, безусловно, заглох, а мы разлеглись, кто куда, а я, запомнил, на полу приткнулся.

И не знаю уж как вышло, может, что горяченького через меру покушал, — задремал.

И вот представилась мне во сне такая картина.

Сидим мы будто у стола, как и раньше, и вдруг катится, замечаем, по полу темненькое и мохнатенькое. Докатилось оно до Егора Саввича и — прыг ему на колени, а беспальный нахально хохочет. И вдруг слышим мы ижехерувимское пение и деточка будто такая маленькая в голеньком виде всходит и передо мной во фронт становится и честь мне делает ручкой.

А я будто оробел и говорю:

— Чего, говорю, тебе, невинненькая деточка нужно? Ответьте мне для ради бога.

А она будто нахмурилась, невинненьким пальчиком указывает на беспалого.

Тут я и проснулся. Проснулся и дрожу. Сон, думаю, в руку. Так я об этом и знал. Дошел я тихоньким образом до Егор Саввича, сам ша-таюсь.

— Что, — спрашиваю, — жив ли, говорю?

— Жив, — говорит, — а что такоеча?

— Ну, — говорю, — обними меня, я твой спаситель, буди мужиков, вязать нужно беспалого сибирского преступника.

Разбудили мы мужиков, стали вязать беспалого, а он, гадюка, — представляется, что не в курсе дела.

Ну, слово за слово, улики я против него собрал, портсигарчик тоже нашел, а он перешептался, может быть, с мужичками, подкупил их, наверно, и вышло тут дельце совершенно темное. Сами же мужички на меня насели.

— Ступай, — говорят, — лучше из нашей губернии. Ты, говорят, только людей смущаешь, сучье мясо. Человек — это вполне прелестный человек. Заграничный продавец. Он для нас же, дураков, дело делает — спиртшко из-за границы носит.

— Ну, — говорю, — драться — вы не деритесь. Вы есть темные людишки и обижаться мне на вас нечего. Обольстила вас беспалая жаба, ну, да мне видение мое сонное вполне дороже.

Собрал я свое барахлишко и пошел.

А очень тут рыдал Егор Саввич. Проводил он меня верст аж за двадцать от гиблого места и все рассказывал разные разности.

ГРИШКА ЖИГАН

Поймали Гришку Жигана на базаре, когда он Старостину лошадь купчику уторговывал. Ходил Гришка вокруг лошади и купцу подмигивал.

— Конь-то каков, господин купчик! Королевский конь. Лучше бы мне с голоду околеть, чем такого коня запродать. Ей-богу, моя правда. Ну, а тут вижу — человек хороший. Хорошему человеку и продать не стыдно. Особенно если купчику благородному.

Купец смотрел на Гришкину лошадь недоверчиво. Лошадь была мужицкая — росту маленького и сама пузатая.

— А зубы-то... Зубы-то, господин купчик, каковы! Ведь это же, взгляните, королевские зубы.

Гришка приседал на корячки, ходил вокруг лошади без всякой на то нужды, даже наземь ложился под брюхо лошади. И хвалил брюхо. А купчик медлил и спрашивал:

— Ну, а она, боже сохрани, не краденая?

— Краденая? — обижался Гришка. — Эта-то лошадь краденая? У краденной лошади, господин купчик, взор не такой. Краденая лошадь всегда глазом косит. А тут, обратите внимание, какой взор. Чистый, королевский взор. И масть у ней королевская.

— Да ты много не рассусоливай, — сказал купчик. — Ежели она есть краденая, так ты мне и скажи: краденая, мол, лошадь. А то ходит тут, говорят — вор и конокрад Гришка Жиган... Так уж не ты ли это и будешь. А? Как звать-то тебя?

— Это меня-то? Гришей меня зовут. Это точно. Да только, господин купчик, я воровством имя такое позорить не буду. На это я никогда не соглашусь... А зовут, да, Гришей зовут. Могу и пачпорт вам показать... Ну, что же, берете коня-то? Королевский конь. Ей-богу, моя правда.

А в это время мужички со старостой во главе подошли к базару.

— Вот он, — тонко завыл староста, — вот он, собачий хвост, вор и конокрад — Гришка Жиган. Бейте его, людишки добрые!

Стоит Гришка и бежать не думает, только лицом слегка посерел. Знает, бежать нельзя. Поймают и сразу бить будут. А сгоряча бьют до смерти. Опешили мужики. Как же так — вор, а не бежит и даже из рук не рвется. Потоптались на месте, насели на Гришку и руки ему вожжой скрутили. А в городе бить человека неловко.

— Волоките его за город, — сказал староста, — покажем ему вору, сукиному сыну, как чужих коней уворовывать.

Повели Гришку за город. Прошли с полверсты.

— Буде! — остановился Фома Хромой. И пиджак скинул.

— Начнем, братишки.

Видит Гришка, дело его плохое: бить сейчас будут. А вора-конокрада бьют мужички до смерти — такой закон.

— Братцы, — сказал Гришка, — а чья земля эта будет? Земля-то ведь эта казенная будет. Нельзя здесь меня бить. Такого и закону нет, чтоб на казенной земле человека били. И вам до суда дело, и мне вред.

Староста согласился.

— Это он верно. Затаскает судья, если, например, до смерти убьем человека. Волокнем его, братишки, на село. Там и концы в воду.

Повели Гришку на село.

— Братцы, — тихо спросил Гришка, — за что бить-то будете? Под суд меня вора и конокрада надобно. Суд дело разберет. Да только каждый суд оправдает меня. Любои суд на лошадь взглянет и оправдает.

Скверная лошаденка, шут с ней совсем. От нее и радости-то никакой нет.

— Да что ж это он, — удивился староста, — что ж это он, православные, лошадь-то мою хаает? Этакая чудная лошадь, а он хаает... Ты что ж это, хвост собачий, лошадь мою хаешь?

— Ей-богу, моя правда, — сказал Гришка. — Поступь у ней, посмотрите, какая. На такую лошадь и сесть противно. Как на нее только сядешь — она, дура такая, задом крутит. Шут ее знает почему, но крутит задом. От нее и болезни могут произойти: грыжа, например, болезнь... От села до базара четыре версты, всякий знает, а у меня пот градом — измучила совсем чертова анафема. Так и крутит задом, так и крутит... Да я вам даже показать могу...

Фома Хромой подошел к Гришке и ударил его.

— Чего зубы-то заговариваешь, сука старая. Если ты есть вор, так и веди себя правильно. Не заговаривай.

Повели Гришку дальше. Уже и село близко — церковь видна.

— Братцы, — смиренно сказал Гришка, — а, братцы... А ведь бить-то меня зря будете. Все равно скоро конец свету.

Мужики шли молча.

— Вот что, — опять начал Гришка, — ходит тут такой юродивый блажененький Иванушка-братец... Не я, а он эти слова говорит. «Да, — говорит, — будет в этих местах великое землетрясение и огненный вихорь».

— Да ну? — тихо удивился Фома Хромой. — Врешь?

— Ей-богу, моя правда. Да что мне теперь скрывать? Мне и скрывать теперь нечего. Он и число назначил. Какое у нас число сегодня?

— Осьмое число, — ответили мужики.

— Осьмое. Правильно. Ну, а тут на девятое назначено. Завтра, значит, и будет. В полдень пожелтеет небо, настанет вихорь и град падет на землю, и град сей будет крупнейший, с яйцо с куриное и даже больше... И будет бить этот град все насквозь. И человека, и скот домашний — корову, например, или курицу...

— И железо? — спросил староста. — Крыша у меня если, скажем, железная?

— Драгоценные есть ваши слова, — сказал Гришка, — и железо.

Мужики остановились.

— Ну, а попа, — спросил кто-то, — может ли, например, поп уцелеть?

— Нет, — ответил Гришка, — и поп не может уцелеть...

— А ведь это верно, — раздумчиво сказал Фома Хромой, — ходила тут схимонашенка такая... Подтверждала эти слова. Только про град-то это он врет. Про град она ничего не говорила. А землетрясение — это верно. И вихорь огненный.

— Ну, а что же, — спросили мужики Гришку, — что же такое делать, если, например, кто спастись хочет?..

— Да врет он, — вдруг закричал староста. — Врет ведь, собачий хвост. Зубы дуракам заговаривает. Бейте его, людишки добрые!

Мужички не двигались.

— Нельзя бить, — строго сказал Фома Хромой. — Обождать нужно. Обождем до завтра, братишки. Убить человека завсегда не поздно... Только про град-то он врет, собачий хвост. Ничего схимонашенка про такое не говорила.

— Безусловно врет, — сказал староста, — ей-богу, врет. И про железо врет.

— Так завтра что ли, Гриша, обещаешь ты? — спросил Фома Хромой.

— Завтра. Пожелтеет в полдень небо, настанет вихорь, и град падет на землю, и град сей...

— Ладно, — сказали мужички, — обождем до завтрава.

Развязали Гришке руки и повели в село. А в селе заперли Гришку на старостином дворе в амбаре и караульщика приставили.

К вечеру все село знало о страшном пророчестве. Приходили бабы на Старостин двор с хлебом и с яйцами, кланялись Гришке и плакали.

А у Фомы Хромого народу собралось множество. Сидел Фома Хромой на лавке и говорил такое:

— Если б не эта схимонашенка, да я бы первый сказал, врет он, собачий хвост. Ну, а тут схимонашенка... У кого еще была схимонашенка?

— У меня, Фома Васильич, была. У меня и есть, — сказала баба простоволосая, — к вечеру сию я преспокойно... Стучит кой-то...

— Да, — перебил Фома Хромой, — небо пожелтеет, настанет вихорь...

Назавтра мужички в поле не вышли. А день был ясный. Ходили мужички по селу, на Старостин двор заходили и пересмеивались.

— Сидит еще пророк-то?

— Сидит.

— Соврал, собачий хвост. Как пить дать, соврал. А ведь какво складно вышло. Ах ты, дуй его горой! Такого и бить-то жалко.

И только Фома Хромой не смеялся.

Ходил Фома Хромой в одиночку, хмурился, выходил в поле и смотрел на небо. А небо было ясное. В полдень услышали крик на селе. Кричал Фома Хромой.

— Туча!

И точно. Из-за казенного лесу низко шла туча. Была эта туча небольшая и серая. И ветер гнал ее быстро. Все село высыпало на зады и в поля. И дивится.

— Да, туча.

Но не пожелтело небо и вихорь не настал — прошла туча над селом быстро и скрылась.

День был ясный.

Бросились мужички на Старостин двор. Хвать-похвать — амбар открыт, а Гришки нету. Исчез Гришка.

А вместе с Гришкой исчез и конь старостин королевской масти.

ЧЕРНАЯ МАГИЯ

I

Не такие теперь годы, чтобы верить в колдовство или, может быть, в черную магию, но только рассказать об этом никогда не мешает.

Много темных людишек и посейчас существует. Как в других деревнях, неизвестно, а в селе Лаптенках это так. В селе Лаптенках бабы, например, и болезни всякие заговаривают, и на огонь и на воду ворожат, и травы драгоценного свойства собирают. Что до другого, не знаю, не скажу, ну, а болезни — это, пожалуй, правильно. С болезнями бабка Василиса очень даже великолепно справляется.

Конечно, придет какой-нибудь этакий ферт заграничный, он, безусловно, только посмеется.

— Эх, — скажет, — Россия, Россия, темная страна!

Так ему что? Ему подавай в цилиндре доктора, в пиджаке, а на бабу Василису он и не взглянет. Да он, может быть, и на лекарского помощника Федор Иваныча Васильченку не взглянет. Вот что! Вот это какой ферт!

Но только с таким человеком я и спорить никогда не соглашусь. Там у них и жизнь другая, а не такая, там, может быть, и болезней-то таких нет, как у нас.

Вот, рассказывают, грелки у них поставлены в трамваях, чтоб сквознячок, значит, ножку не застудил, пожалуйста...

Ведь это что? Ведь это дальше и идти-то некуда. Полное европейское просвещение и культура...

Ну, а у нас и жизнь тут другая и людишки не такие. У нас вот баба, например, погибла от черной магии. Супруга Димитрия Наумыча.

II

А по-пустому все и вышло. Ее, имейте в виду, Димитрий Наумыч со двора вон выгнал. Вот оттого все и произошло. А, впрочем, нет, не оттого.

Прежде случай был другой, деревенский. В дело это чертов сын Ванюшка замешался. Вот что.

Жил-был на свете такой Ванюшка, мужик больной и убогий... Из-за него все и произошло. Конечно, бывали тут на селе и раньше разные происшествия: повадились, например, мужички каждую весну тонуть — то Василь Васильич, мужик богатенький, потонул, то староста нырнул нечаянно, то Ванюшка теперь... Но только все это было по

веселым делам, а такого дела, чтобы, например, бабу свою вон выгнать — тут и привычки такой ни у кого не было.

Так вот Ванюшка больной и убогий... Я, как в Лаптенках расположился, сразу обратил полное свое внимание на Ванюшку. Ходит это он, можете себе представить, веселенький, ручки свои, сволочь, потирает. Я его запомнил, остановил тогда на селе, отвел в сторону.

— Ты что ж это, — спрашиваю, — так нахально-то ходишь и ручки свои потираешь, гадина?

А он, как сейчас помню, ехидно так посмотрел на меня.

— А чего, — говорит, — мне горе-то горевать? Мне теперь, знаете, лафа. Я хотя и больной и убогий, а жить теперь буду, что надо. Очень передо мной широкий горизонт в смысле богатеньких невест и приданого.

— Да что ты, — говорю, — врешь?

— Нету, — говорит, — не вру. Как хотите. Ходит теперь мужик в очень большой цене, да только, имейте в виду — мужик холостой, неженатый... Да вы, — говорит, — впрочем, сами-то взгляните, что кру-го делается.

Взглянул я кругом, ну, вижу — дела-делишки: на селе бабы кишмя кишат, девки на вечеринках дура с дурой танцуют, а кавалеров ихних — как корова языком слизала. Нету ихних кавалеров. Никто из молодых молодчиков, заметьте, с германской войны домой не вернулся.

«Вот, — думаю, — да-а».

А Ванюшка ходит вокруг села и хвалится.

— Дождался, — говорит, — я своего времечка. Как угодно. Дорвался до роскошной жизни. Я хоть и больной и убогий, а мужик. Из песни слова не выкинешь.

Так вот с недельку походил по селу Ванюшка, стал, сукин сын, на радостях самогонку хлебать, за речку ездить повадился... Жила-была за речкой фря такая, веселая солдатка Нюшка... И — можете себе представить — потонул Ванюшка. От солдатки возвращался ночью пьяненький и потонул, дурак. Не удержал своего счастья.

И очень тогда мужички над ним издевались.

III

Ну, хорошо. К ночи он, например, затонул, утром походили мужички по берегу, посмеялись вдоволь и ловить его принялись.

Выехали на лодках, пошевелили баграми, кошками по дну поцарапали — нету Ванюшки.

А речонка и вся-то ничего не стоит — одно распоряжение, что речонка.

Обиделись мужички.

— Что, — говорят, — за мать честная? Василь Васильича сразу нашли, старосту тоже сразу нашли, а тут этакую невидаль, козявку, представьте себе, такую найти не можем.

Пустили по речке горшки... Ну, да. Обыкновенные горшки. Глиняные... Это не какое-нибудь там темное поверие или, может быть, старинный обычай, это роскошное средство найти утопленника. Да это можно даже доказать научными данными. Скажем, труп лежит, за корягу ногой, может быть, зацепился. Пожалуйста. Над трупом вода, безусловно, обязана крутиться и воронку делать... Горшок туда — и там, представьте себе, вертится.

Так вот и тут. Пустили горшки. Поплыл один горшок на середину реки и, смотрим, там крутится. Сунули там багор — глыбоко. Яма. Повертели кошкой — осталась там кошка.

— Тьфу ты, дьявол!

Решили мужички: нырнуть нужно.

Тот, другой, пятый — отнекиваются.

— Димитрий Наумыч...

Тот долго спорить не стал, скинул с себя платышко, рожу свою перекрестил и нырнул. И тут-то, замечайте, все и началось.

IV

Рассказывал мне после Димитрий Наумыч.

— Нырнул, — говорит, — я. Хорошо. И только я нырнул, как вдруг меня и осенило: «Что ж, — думаю, — ходил тут такой Ванюшка, холостой, неженатый, да и тот в воде захлебнулся. Чего ж, — думаю, — случай-то такой роскошный я буду из рук вон выпускать: выгоню, например, свою бабу, да и поженюсь на богатенькой».

Так вот он подумал и сам чуть водой не поперхнулся, чуть не погиб мужик — пробыл в воде сверх положенной нормы. Даже мужички тогда забеспокоились, потому что пошел по воде пузырь крупный.

Но только через минуту выплыл Димитрий Наумыч на свет земной, лег на песок и лежит ужасно скучный и даже трясется.

«Ну, — подумали мужички, — чудо-юдо на дне, не иначе».

А на дне, имейте в виду, все спокойно: лежит Ванюшка на дне, уцепившись штанинкой за корягу.

Стали мужички расспрашивать: что, да что, а Димитрий Наумыч и говорит:

— Тащите, — говорит, — кошкой, все спокойно.

Стали мужички тащить... да только об этом и разговор никакой — больше-то Ванюшка и не нужен в нашем деле, потому что пошло дело по другому уклону. Ну, а Ванюшку, да, вытащили. Побегал мужик Димитрий Наумыч домой.

«Что ж, — бежит и думает, — кругом во всех деревнях ходит холостой мужик в большей цене. Да я, — думает, — бабу свою теперь с лица земли сотру, или, может быть, ее выгоню».

Так вот он опять подумал, да видит, как раз эти самые слова ему и нужны. Пришел домой и фигурировать начал.

И баба ему ступит плохо, и вид-то ему из окна, между прочим, плохой.

Видит баба: загрустил мужик, а с чего загрустил, — неизвестно. Подходит тогда она к нему со словами, а слова все у ней тихие.

— Чего, — говорит, — это вы, Димитрий Наумыч, словно как загрустили?

— Да, — отвечает он нахально, — загрустил. Хочу, — говорит, — богатеньким быть, да вы, имейте в виду, мне помеха.

Промолчала баба.

А сказать нужно, баба у Димитрия Наумыча очень даже замечательная была баба. Только одно и несчастье, что не богатая, а бедная. А так-то всем хороша: и голос у ней был тихий и симпатичный, и походка не какая-нибудь утиная — с боку, например, на бок — походка роскошная: идет, будто плавает.

Ее сестру даже родную ферт какой-то за красоту убил. Жить с ним не хотела.

В Киеве дело было...

Ну, и эта тоже была очень даже красивая. Все находили. А Димитрий Наумыч мнению этому теперь не внял и свою мысль при себе имел.

Так вот поговорили они, баба промолчала, а Димитрий Наумыч все, замечайте, случая ищет.

Походил он по избе.

— Ну, давай, — орет, — баба, кушать, что ли.

А до обеда далеко было. Баба ему с резонном и отвечает:

— Да что вы, Димитрий Наумыч, я, — говорит, — еще и затоплять-то не думала.

— Ах, — говорит, — ты юмола, юмола, ты, — говорит, — меня, может, голодом уморить думала. Собирай, — говорит, — свое барахлишко, сайки с квасом, вы, — говорит, — мне больше не законная супруга.

Очень тут испугалась баба, умишком раскинула.

Да, видит, гонит. А с чего гонит — неизвестно. Во всех делах она чистая, как зеркальце. Думала она дело миром порешить. Поклонилась ему в ножки.

— Побей, — говорит, — лучше, пилат-мученик, а то мне и идти-то некуда.

А Димитрий Наумыч просьбу хотя ее и исполнил, побил, а со двора все-таки вон выгнал.

V

И вот собрала баба барахлишко — юбочонку какую-нибудь свою дырявую — и на двор вышла.

А куда бабе идти, если ей и идти-то некуда?

Покрутилась баба по двору, повыла, поплакала, умишком своим снова раскинула.

«Пойду-ка, — думает, — к соседке, может, что и присоветует».

Пришла она к соседке. Соседка повздыхала, поохала, по столу картишки раскинула.

— Да, — говорит, — плохо твое дело. Прямо, — говорит, — очень твое дело паршивое. Да ты и сама взгляни: вот король виной, вот осьмерка, а баба виной на отлете. Не врут игральные карты. Имеет мужик что-то против тебя. Да только ты и есть сама виноватая. Это знай.

Вы обратите внимание, какая дура была соседка. Где бы ей, дуре, утешить бабу, вне себя баба, а она запела такое:

— Да, — запела, — сама ты и есть виноватая. Видишь — загрустил мужик, ты потерпи, не таранта. Он тебя, например, нестерпимыми словами, а ты такое: дозвольте, мол, сапожечки ваши снять и тряпочкой наисухонькой обереть — мужик это любит...

Фу ты, старая дура... Такие слова...

Утешить нужно бабу, а она растравила ее до невозможности. Вскочила баба, трясется.

— Ох, — говорит, — да что же я такоеча наделала? Ох, — говорит, — да присоветуй хоть ты-то мне для ради самого Господа. На все я теперь соглашусь. Ведь мне и идти-то некуда.

А та, старая дура, тьфу, и по имени-то назвать ее противно, ручищами развела:

— Не знаю, — говорит, — молодушка. Прямо сказать тебе ничего не могу. В очень большой цене теперь мужик. И красотой одной и качествами не прельстишь его. Это и думать не смей.

Бросилась тут баба вон из избы, выбежала на зады, да по заднему проспекту и пошла вдоль села. На село-то ей, бедной, и идти было стыдно.

И вот, видит баба: идет ей навстречу старушка махонькая, неизвестная бабушка. Идет эта бабушка, тихонько катится и чтой-то про себя шепчет.

Поклонилась ей баба наша, заплакала.

— Вздравствуйте, — говорит, — старушка махонькая, неизвестная бабушка. Вот, — говорит, — взгляните, пожалуйста, какие дела-делишки на земном свете-то деются.

Взглянула старая бабушка, головенкой своей, может быть, мотнула.

— Да, — говорит, — деются, деются... Ох, — говорит, — молодая молодушка, знаю все, что на свете деется — всех людишек передавить надобно — вот что деется. Да только, умоляю тебя, не плачь, не порти очи себе. В деле таком слеза — помощь никакая. А вот что: есть у меня средства разные, есть травы драгоценного свойства. Есть и словесные заговоры, да только в таком великолепном деле они ничего не стоят. А от такого дела, чтобы человека при себе удержать, есть одно только средство. Будет это средство страшное: особая это роскошная черная кошка.

Тую кошку завсегда узнать можно. Ох, любит та кошка в очи смотреть, а как смотрит в очи, так хвостом нарочно качает медленно и спинку свою гнет.

Слушает баба ужасные старухины речи, и млеет у ней сердце.

Конешно, никто не слышал такие речи старухины, кроме бабы нашей, да только все это, безусловно, правильно. Об этом Юлия Карловна тоже говорила. Да и в дальнейшем это вполне выяснилось. И еще в дальнейшем выяснилось, что взять нужно было тую кошку черную, в полночь баньку вытопить и тую кошку живую в котел бросить.

— Умоляю тебя, — просила бабушка, — брось тую кошку, безусловно, живую, а не дохлую. А как будет все кончено, вылущи кошачью косточку небольшую, круглую и, умоляю тебя, носи ее завсегда при себе.

Как услышала баба это, ужаснулась, поклонилась старухе низенько.

«Пойду, — думает, — поклонюсь еще раз Димитрию Наумычу, а если не изменит он своего мнения, так есть у меня средство страшное, роскошное».

VI

Пошла баба на село поклониться Димитрию Наумычу, да только пошла она, имейте в виду, зря.

Где же было Димитрию Наумычу изменить свое мнение, если он так и горел и даже в город порывался ехать, закончить дело.

Я к нему тогда зашел. Он уж и лошадь свою запрягал. Он мне многое тогда высказал.

— Никогда бы, — говорит, — я такую бабу не выгнал, как Бог свят. Лучше, — говорит, — растерзай ты меня на куски и разбросай те куски по полю, но на такое дело никогда бы я не согласился. Очень она, баба, мне в самый раз. Да только больно мне, слушай, богатеньким-то лестно пожить. Ты сам взгляни: ну, какой я есть мужик? Только и есть одно удовольствие, что лошадь у меня, а так-то все идет в развалку и на сторону. Ну вот, ты сам, слушай, друг ты мой, ответь мне для ради самого Господа, есть у меня, например, корова или нету?

— Нет, — говорю, — нет у тебя коровы, Димитрий Наумыч. Это я подтверждаю. У тебя, — говорю, — овцы, даже какой-нибудь паршивой и то нету.

— Ну, — говорит, — вот видишь. Какой же я мужик после того?

— Да уж, — говорю, — без коровы тебе как без рук.

— Так вот, — говорит, — а вы говорите: баба. Баба что? Только что хороша собой, а больше у ней, слушай, и преимуществ-то нет никаких... Ну, сестру ее, скажем, за красоту убили. В Киеве дело было. Так

мне теперь что? Мне из этого и пальтишка даже не сшить. Да и меня, прямо скажу, этим теперь не заинтересуешь.

Так вот он говорит, со мной объясняется, а баба, заметьте, рядом стоит. Увидел он ее, закричал.

— Чего, — закричал, — тебе надобно? Уходи. Сделай такое одолжение.

А баба испугалась окрика, да говорит не то, что нужно.

— Ухожу, — говорит, — я, Дмитрий Наумыч, еще не знаю куда, наверное, в Киево-Печорскую лавру, так дозвоьте мне на прощанье в баньке вашей попариться.

Посмотрел мужик на нее, не хитрит ли баба. Нет, не хитрит. Подобрел Дмитрий Наумыч.

— Ладно, — говорит, — попарься. В этом, — говорит, — я не притесняю. Ведь я не зверь какой-нибудь. Я за что тебя выгнал? Очень ты хорошая баба и все такое, да только уж извините — рвань коричневая. Ничего у тебя нет и, сознайся, — и не было. Да и родственники, слушай, твои, за сколько лет, хоть бы кто плюнул. Хоть бы кто подарок мне сделал для ради смеха, рубашку бы, например, преподнес к празднику к светлomu: носите, дескать, Дмитрий Наумыч, себе на утешение... Так нет того.

Не стала баба долго его слушать, повернулась да и пошла, а Дмитрий Наумыч сел в телегу, свистнул, гикнул, да и был таков.

И вот, представьте себе, едет он в город, а баба тем временем баньку вытопила, кошку попову черную приманила, заперла ее в баньке и ждет ночи.

Встретил я ее, бабу бедную, в тот вечер. По селу она бежала. Стиснула этак вот кошку к груди и бежит и бежит простоволосая и вроде как страшная.

«Ох, — подумал я, — гибнет баба». Но только, имейте в виду, дело мое сторона.

VII

А к ночи сделал мужик свое дело, выпил с братом своим в городе самую что ни на есть малость и едет обратно веселенький, песни даже играет. И не чует, не гадает, что с ним такое сейчас стряется. А стряется сейчас с ним дело совершенно удивительное — прут, ну, ветка, скажем, сухая в колесо попадет и лошадь гибнет...

Только об этом после. К этому и время еще не подошло. А мне только сказать нужно: если б не упала тогда лошадь, то ничего бы, может быть, и не случилось с бабой, поспел бы Дмитрий Наумыч, ну, а тут лошадь, представьте себе, упала.

Хорошо. Так вот едет мужик по лесу, на телеге раскинулся, ручки свои в стороны разбросал. Едет.

А лошадь идет шагком мелким, ее и править не надо. Да Дмитрий Наумыч и не правит. Он, имейте в виду, вожжи даже бросил.

И это верно он поступил: лошадь и днем и ночью завсегда дорогу к дому найдет. Об этом я очень великолепно знаю. В извозчиках я и сам больше года был.

Так вот, идет себе лошадь Димитрия Наумыча шажком, а Димитрий Наумыч вожжи отпустил и про себя песни играет. А ночь, имейте в виду, темнейшая.

Хорошо. Мурлычет он пьяненький — «Кари глазки», только, смотрит, к погосту подъезжает.

И стало мужику не по себе.

«Вот, — думает, — мать честная, сколько тут людишек позарыто, да и мне места такого не миновать... А я, обратите внимание, такими вещами занят: бабу, например, свою гоню, для ради какого-то богатства и роскоши»...

Подъехал он к погосту хмурый, песни свои забыл и лежит на телеге — скучает. Только чует: смотрит будто на него кой-то пристально.

— Кто? — крикнул мужик.

— О-о! — закричали ему с погоста.

Хотел мужик подхлестнуть свою лошадь, да только чует: и рукой ему шевельнуть жутко.

«Ну, — думает, — скорее бы место такое злачное миновать».

Только это он так пожелал себе, вдруг его кой-то хлясь по роже.

Замер Димитрий Наумыч, похолодел.

А прут, представьте себе, обернулся еще раз в колесе — хлясь обратно по роже. Смертельно закричал Димитрий Наумыч. А лошадь — дура. Лошадь слышит — кричит мужик, думает — на нее, — понесла.

Мужик кричит чужим голосом, а лошадь так и дует, так и прет к дому.

Пронеслись они верст, наверное, пять, Димитрий Наумыч видит: никто его больше по роже не бьет — кричать перестал, в себя пришел.

Пришел в себя, тпр да тпр — не остановит коня.

Ему бы, дураку, нужно ш-ш сказать, а он за вожжу. Он за вожжу, а лошадь, несомненно, в сторону. Лошадь, несомненно, в сторону, а в стороне, имейте в виду, дерево.

Наскочила лошадь на дерево. Хрясь башкой об дерево и скопсилась замертво.

Выпал мужик из телеги, шапку снял.

Да, видит, скончалась лошадь. «Ой, — думает, — вот беда так беда, такого и бедствия во всей жизни еще не было. Ну, — думает, — отпущена мне эта беда не иначе, как за бабу мою».

Стоит мужик и себе не верит.

И себя-то ему жалко, и лошадь, — дело такое драгоценное, мужицкое, и за бабу до того грустно, что и сказать невыносимо. Постоял он, постоял.

«Ну, — думает, — что есть, то есть. Пойду-ка я на село поскорейча, может быть, с бабой моей еще ничего не случилось». Так вот он по-

думал, заторопился, привязал зачем-то лошадь к дереву, взвалил на себя дугу да сбрую и пошел скорым шагом.

Да только зря он торопился. Было уже поздно. Случилось уже такое, что и во сне не снилось мужику.

VIII

Начала баба дело свое — черную магию, когда Димитрий Наумыч к погосту подъезжал.

Пришла баба в те часы в баньку, крест и платишко свои в предбаннике оставила и без ничего в баню вошла. Вошла она в баню, крышку с котла откинула и кошку ищет.

«Где же, — думает, — кот. Не видно его чегой-то». Смотрит: сбился кот под лавку.

Баба ему: кыся, кыся, а он, представьте себе, шерится и в очи смотрит.

Баба протянула руку — он зубами. Изловчилась как-то баба, ухватила его за шкурку, плюхнула в котел и крышкой поскорей прикрыла.

Прикрыла она крышкой и слышит: бьется кошка в котле это, ужасно как, даже крышка чугунная вздымается. Налегла баба грудью на котел, а сама от страха сомлела вся, и вот-вот, видит, силушки удержат не хватит. А в котле повертелось, повертелось и заглохло.

Подложила баба дров побольше, отошла от печки и на лавку присела. Ждет. И вот слышит, будто вода ключом кипит. Посмотрела: да, крышка вздымается и ходуном ходит.

«Ну, — думает баба, — сейчас конец».

Подбежала она к котлу, только приподняла крышку, как в лицо ей бросится кот или чего-то такое другое. Всплеснула баба руками и на пол рухнула.

IX

Конешно, никто не знает, как в точности это было. Скорей всего, баба открыла котел, а ее паром и обожгло. А баба с перепугу подумала, что это в нее кошка бросилась. Взяла и померла с перепугу. А конец делу был такой.

Вышел я утром на село, смотрю: бежит поскорей мужик Димитрий Наумыч, и на нем, представьте себе, честь честью дуга и сбруя.

Очень я удивился, а он ко мне.

— Не видел ли, — кричит, — бабы моей?

— Нет, — отвечаю, — бабы я твоей не видал. А вот вчера, — говорю, — да, видел, баньку она вечор топила.

Ухватил он тут меня за руку, и мы побежали.

Ворвались в баньку, шагнули за порог, и тут представилась нам такая нестерпимая картина.

Лежит, представьте себе, баба на полу совершенно мертвая.

Охнул тут Дмитрий Наумыч, схватил себя за голову и говорит: «Вот, говорит, через свою жадность потерял такую верную супругу».

И, конечно, заплакал горькими слезами.

ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ

1

Ах, милостивые мои государи и дорогие товарищи! Поразительно это, как меняется жизнь и как все к простоте идет!

Скажем, двести лет назад, тут, на Невском, ходили люди в розовых, в зеленых камзолах и в париках. Дамы такими куклами прогуливались в широченных юбищах, а в юбищах железные обручи...

Теперь бы и подумать об этом смешно, ну, а тогда была эта картина повседневная.

А, впрочем, и над нами через сто лет посмеются.

Вот, скажут, как нелегко было существовать им!

Мужчины на горлах воротнички этикие тугие стоячие носили, дамы — корсеты.

И верно. Смешно. А только и это уже уходит.

Все меняется, все идет к простоте необыкновенной.

И не только это во внешней жизни, но и в человеческих отношениях.

Ну кто, какой человек вызовет меня на дуэль, если я обзову его дураком? Никто.

А раньше за это до крови бились. Да что раньше.

Недавно это было. Недавно еще, скажем, битый офицер, да и не только офицер, любой дворянин битый считал непременно долгом застрелиться или застрелить обидчика.

Я вот вспоминаю старичка древнего. Генерала одного пехотного. Актриска его в сердцах по физиономии дернула. Так что ж вы думаете?

Застрелиться хотел старичок. Плакал, тосковал всю ночь... Ну, да только кончилось все благополучно. Пережил старичок. И в дальнейшем помер от дизентерии.

Ах, а смешная это была история! И не то, конечно, смешно, что актриса старичка ударила, а вся история перед тем, вся веселая жизнь генеральская была необыкновенная.

2

Ах, милостивые мои государи! Невозможно без слез вспомнить об этом человеке.

Нынче лежит он на Митрофаньевском. Над ним камень могильный — ангел в воскрылии. Под ангелом надпись: отставной военный генерал Петр Петрович Танана.

Малюсенький это был старичок, птичий. Вместо волос — какие-то перышки. Носик продолжительный, птичий, и звали его повсюду, старичка этого, чижиком.

Были на нем чины огромные и богатство довольно изрядное, а жил он, несмотря на это, до того грустно, что сказать невозможно.

Пятьдесят лет прожил он, прямо скажу, неслышно, а на пятьдесят первом году, перед смертью, вдруг изменился человек.

Раньше, бывало, генеральша полные сутки орет на него, что павлин, а генерал в ответ ни полсловечка. Генерал в столовой на диване лежит, шинелькой прикрывается и жмется. А тут, на 51 году, стал брыкаться. Генеральша, например, голосом донимает, а он в людскую.

Там у Васьки Дидюлина, у камердинера своего, сядет на кровать и только усмехнется горько:

— Вот, — скажет, — Вася, картина семейной жизни. А Васька Дидюлин головой потрясет.

— Да, — скажет, — неинтересно вы живете, богатые люди!

А генерал иногда с ним спорить начнет.

— Что ты, брат Дидюлин! Мы, богатые люди, тоже веселиться можем, только нам нельзя все сразу. Ты вот погоди. Дай срок. Дотерпи до лета. Летом мы с тобой на Кавказ поедем. Повеселимся ужасно как. Все равно, за тихую жизнь мне никто спасибо не сказал. Ну, а нынче желаю пожить разгульно. До того буду яростно жить, что если Бог есть на небе, или, например, херувимы, так они содрогнутся.

И вот к весне генерал и Дидюлин стали в путь собираться.

3

А перед отъездом зовет генерал Дидюлина в комнату.

— Вот, — говорит, — что, Вася! Сейчас мы с тобой ходим по одному шепетильному делу. Пока генеральша спит у себя в креслах, бери поскорей эту корзину с пищей и идем.

Взяли они корзину и пошли.

Петербургская сторона. У черта на рогах... В шестнадцатом этаже... Звонят. Старушонка дверь открывает.

— Что — спрашивает, — нужно? Я пенсионерка и держу меблированные комнаты.

Генерал отвечает:

— Нам нужно видеть мамзель Зюзиль по шепетильному делу.

— Это, — спрашивает, — циркачку-то?

— Да. Наездницу и актрису мамзель Зюзиль.

И вот входят генерал и Дидюлин в комнаты. У зеркала циркачка сидит. Вид у ней не ахти какой. Даже удивительно, как генерал заинтересовался ей.

Увидела генерала, руками всплеснула.

— Ах, ах, — говорит, — не подходите, генерал, я раздетая.

А генерал:

— Ничего, что раздетая, я по шепетильному делу.

— Ну так, — отвечает, — садитесь тогда в сторонку и произносите ваше дело. А я новыюшечку тем временем сниму, прическу причешу и снова буду красивая и изысканная.

Генерал башлычок свой развернул. Подходит.

— Имею, — говорит, — честь отрекомендоваться, — военный генерал Петр Петрович Танана. Давеча сидел в первом ряду кресел и видел всю подноготную. Я, военный генерал, восхищен и очарован. Ваша любовь, мои же деньги — не желаете ли проехаться на Кавказ? Нужно жить да радоваться. Развязывай, брат Дидюлин, корзину.

У циркачки руки трясутся.

— Ах, ах, — отвечает, — мерси, генерал, не тревожьтесь беспокоиться. Не могу я так — раз, раз, по-воробыному, решиться на такое шепетильное дело. Я очень порядочная и за такие слова могу враз выгнать человека из помещения.

Генерал встает.

— Нету, — говорит, — не выгоняйте, умоляю вас. Я — военный генерал Петр Петрович Танана и всякие обиды и, в особенности, оскорбления действием мне невозможно перенести.

— Ах, ах! — говорит циркачка, — извиняюсь, генерал, я не хотела вас обидеть.

— Ну-с, — говорит генерал, — это ничего. Сердце у меня нежное и характер кроткий. Беги, брат Дидюлин, в полпивную, носи полдюжины пива. Нужно жить да радоваться.

Побежал Дидюлин в полпивную, возвращается — сидят у зеркала генерал с циркачкой, будто новобрачные.

4

Вскоре после того они и поехали. Кисловодск. Высшее человеческое парение. Вот генерал циркачке и говорит:

— Ну, машер, машер, приехали. Вот взгляните! Кисловодск. Кругом восхитительные места, кавказская природа, а это курсовые ходят.

А циркачка:

— Ну, — говорит, — и пушай себе ходят. В этом ничего нет удивительного. Давайте лучше квартиру снимать.

Снял генерал квартиру, а циркачка через улицу комнату. Живут.

Только замечает генерал: дама мамзель Зюзиль по этим местам не слишком шикарная, даже вовсе не шикарная. Одним словом, стерва.

Генерал, например, с ней под ручку идет, а в публике смех. Тут кругом высшее общество, а она гогочет и ногами вскидывает.

Вот генерал Дидюлину и говорит:

— Ну, говорит, брат Дидюлин, я — военный генерал Петр Петрович Танана, а мне с циркачкой вместо веселья одно лишь оскорбление выходит. Тут кругом высшее общество, а она, дура такая, бисерный подзатыльник носит, гогочет и обнажается.

Дидюлин ему и советует:

— А вы, — говорит, — гоните ее, и разговор весь.

Вот генерал и согласился.

Приходит циркачка на другой день, а Дидюлин:

— Пушать, — говорит, — не велено. Иди, говорит.

— Как же, — говорит, — не велено? Если генерал от меня в полном восхищении?

— Ну, — говорит Дидюлин, — это вам как угодно. Приказано гнать в шею.

Как услышала циркачка такие слова — затряслась. Визжит в три горла. Даже соседи заинтересовались.

— Кто это, — спрашивают, — визжит в три горла?

А циркачка:

— Передайте, — кричит, — генералу, что я ему, курицыну сыну, за такое нахальство голову вырву при первой встрече.

Покричала еще циркачка и ушла.

А очень тут испугался генерал. В комнате у себя заперся, шторку опустил.

— Ну, — говорит, — брат Дидюлин, вонючий случай. Дама она настойчивая, что сказала — сделает. А если сделает, мне помереть придется. Мне, военному генералу, невозможно перенести оскорбления. Лучше, говорит, я из комнаты никуда не выйду. А ты ко мне никого не впускай и дверь на цепке держи.

5

Три дня прожил генерал в комнате, не вылезая. На четвертый день осмелел — шторку поднял и сидит у окна, обедает.

И видит — личность этакая штуковатая к окну подходит.

Человек какой-то.

И шут его разберет — не то кавказец, не то русский. На подбородок посмотришь — кавказец. Подбородок пикой. На нос взглянешь — безусловно русский. Нос обыкновенный русский, крылечком выступает.

Тут и генерал заинтересовался таким смешением, из окна высунул-ся, вместо того, чтобы шторку опустить.

А тот ближе подходит.

— Здравия, — говорит, — желаю. Имею, говорит, к вам очень много чувств, дайте, говорит, за мои чувства тарелку супу. Я вам за едой дельце расскажу.

Генерал испугался.

— Вы, — говорит, — ко мне не подходите близко и в лицо не дуйте — я военный, генерал Танана и мне это оскорбительно. Говорите на почтительном расстоянии.

— Ах, — говорит, — так! Ну, так извольте. После этого вы мне прямой враг. Вы не смотрите, что нос у меня обыкновенный, нос этот мне

от матушки достался, а я настоящий гордый лезгин и за честь женщины всегда вступлюсь. Объявляю вам, надменному генералу, что если вы не удовлетворите капиталом обиженную мамзель Зюзиль, так она оскорбит вас действием публично. А что до меня, то заявляю: выжи-маю левой рукой три пуда, рука у меня тяжелая. Были даже смертель-ные исходы.

И ушел.

Генерал сомлел, шторку опустил, сидит и трясется. Дидюлина зовет.

— Ну, — говорит, — брат Дидюлин, вонючий случай. Делу дан не-приятный оборот. Что делать, я и ума не приложу. Чувствую только, что живым мне теперь не быть. Ну, ударит она при публике — мне крышка, стреляться нужно. А если капитал ей дать, то опять-таки — ка-кой капитал? Мало дашь — все равно ударит. Много дашь — передашь еще. Жалко. Погиб я теперь, Дидюлин. Погубила меня веселая жизнь.

А Дидюлин ему и говорит:

— А вы, говорит, дайте ей три катеньки и еще пообещайте, а там видно будет. Может быть, мы соберемся, да и в сторону.

Генерал вынул три бумаги.

— Ладно, — говорит, — беги. Это ты прелестно придумал.

Вот Дидюлин и побежал.

6

А надо было так случиться, что, не доходя циркачки, армянская полпивная была. Духан, одним словом.

Вот Дидюлин бежит, деньги у него между пальцами шуршат и ду-мает он:

«Не малюсенькие, думает, деньги, мать честная! Зайти, что ли, вы-пить стаканчик? С циркачки и двух бумаг больно хватит».

Вот он и зашел. Выпил и еще выпил: и все на свете забыл. Гуляет на все сто рублей.

А генерал у окна сидит и природой любитесь. Только проходит час и два. Дело к вечеру. Нет Дидюлина.

Вот генерал и думает:

«Затекли ноги. Пройтись, что ли, по улице?..»

Вышел он на улицу — хорошо. Идет по улице — превосходно. Ви-дит — парк.

«Зайду, — думает, — в парк. Волков бояться — в лес не ходить».

Зашел в парк. Кругом духовая музыка.

Вот генерал и сам не заметил, как за столик сел... Потребовал себе еды. Сидит, кушает, музыкой восхищается.

«Ну, — думает, — ничуть не страшно».

Только вдруг видит: циркачка идет и лезгин рядом.

«Неужели, — думает генерал, — мало ей трех катенок?»

А циркачка подходит к столу.

— Что, — говорит, — не узнали, генерал?

— Нет, отчего же, — отвечает генерал, — узнал, машер, машер... И того, говорит, лезгина узнал. Очень симпатичная личность.

— Ах, — говорит циркачка, — личность?

И с этими словами генерала по сухонькой щеке наотмашь.

Упал генерал в траву и лежит битый в тревожной позе. А лезгин схватил скатерть, сдернул — все бланманже на пол рухнуло.

Захохотали они оба и ушли.

Стали тут курсовые подходить толпами.

Собрали генерала с травы, положили на скатерть и домой отнесли.

7

К ночи Дидюлин домой явился пьяный. Пришел к генералу.

— Так и так. Прогулял денежки.

Ничего ему генерал на это не сказал, только кивнул головой.

— Подай, — говорит, — сюда огнестрельное оружие.

Дидюлин, пьяный, оружие подал и к себе.

Спать сразу свалился. Только на утро вскакивает, вспоминает все. «Ну, — думает, — помер генерал. Вечный покой». Вбегает в комнату, смотрит: сидит генерал на кровати и тоненько так смеется. Весело.

— А, — говорит, — брат Дидюлин! Я, говорит, на тебя не сержусь. Они хитры, но и я хитер. Если бы лезгин меня ударил, то да — я бы застрелился. Ну, а тут актриска ударила. Баба. А баба не считается... Ах ты, дураки какие!

На другой день генерал и Дидюлин уехали.

А в дороге покушал генерал через меру и помер от дизентерии.

ПОСЛЕДНИЙ БАРИН

1. Встреча

Его, Гаврилу Васильевича Зубова, я встретил в Смоленске.

Помню... Базар. Пшеничный хлеб. Свиная туша. Бабы. Молоко... И тут же, у ларьков — толпа. Зрители. Хохочут. Бьют в ладоши. А перед зрителями человек.

Я подошел.

Был это необыкновенного вида человек: босой, слоноподобный, с длинными, до плеч, седыми волосами. Он ходил таким кренделем перед толпой, рыл ногами землю, бил себя по животу, хрюкал, приседал, ложился в грязь. Он танцевал.

Сначала я не понял. Понял, когда он взял с земли дворянскую фуражку и стал обходить зрителей. В фуражку клали ему все, кроме денег: кусочки грязи, навоз, иной раз хлеб. Хлеб он тут же пожирал. Все смеялись. Но это не было смешно. Это было страшно — лицо его не улыбалось.

Я протискался ближе и вдруг узнал: это — Зубов. Помещик Гаврила Васильевич Зубов. Я вдруг вспомнил: цугом двенадцать лошадей, гонец впереди — его выезд, кровать под балдахин, лакей, читающий ему Пушкина из соседней комнаты (чтоб не видеть смерда!)

Я положил в шапку его хлеб и сказал тихо:

— Гаврила Васильевич...

Он, усмехнулся как-то хитро, в нос, и, взглянув на меня, отошел.

Да, это был Гаврила Зубов. Станный, необыкновенный человек. Последний барин, которому следовало бы жить при Екатерине...

Я хотел было уйти, но вдруг подошел ко мне какой-то старичок. Был он чистенький, опрятненький, в сюртуке. В руке он держал ковер: продавал.

Старичок высморкался в розовый платок, поправил галстук, кашлянул и сказал почтительно:

— Извиняюсь, уважаемый товарищ, вы изволили по имени назвать Гаврилу Васильевича... Вы знали сего человека?

— Да, — сказал я, — однажды я с ним встретился...

— Однажды! — закричал на меня старичок. — Однажды! Только однажды! Так, значит, о нем вы ничего не знаете?

— Нет, — сказал я, — о нем я кое-что слышал. Старичок недовольно взглянул на меня.

— А что Зубово он сжег — знаете?

— Сжег Зубово? Нет, не знаю.

— Нет! — снова закричал старичок, размахивая руками. — Ну, так, значит, вы ничего не знаете... А про Ленку знаете? А как Гаврила Васильевич князя Мухина высек?

Старичок засмеялся тоненько, поперхнулся, вынул розовый свой платок, высморкался и, взяв меня под руку, сказал, показывая пальцем на Зубова:

— Сжег. Сжег свое Зубово. Из великой гордости сжег, чтоб мужичкам ничего не досталось. И нагишом ушел. В белье только. Даже кольцо с пальца скинул и в пожар бросил. Мужички по сие время шуруют на пожарище.

Старичок снова засмеялся. На этот раз он смеялся продолжительно, дважды вытаскивал носовой платок, сморкался, махал рукой, вытирал себе слезы...

Я посмотрел на Гаврилу Васильевича. Он сидел на земле, поджав под себя ноги. Величайшее равнодушие застыло на его лице. Он тихо качался всем телом, и челюсти его медленно и равнодушно двигались: он жевал хлеб.

2. Рассказ старичка

— Ах, уважаемый товарищ, — сказал старичок, — много ли человек стоит? А стоит человек три копейки со всеми своими качествами. Вот взгляните: сидит человек, сложив по-турецки ноги — ему и горюшка

никакого... Все забыл, все не помнит, и другая кровь течет у него по жилам. А кто это сидит, многоуважаемый товарищ?

А сидит это Гаврила Васильевич Зубов, самый, в свое время, замечательный, — самый наигордый человек во всей России. Лет тому тридцать назад, каждый сопливый мальчишка знал это имя. Жил он в Москве и не тем был замечателен, что золотом свыше одного миллиона на француженок истратил, а был он замечателен необыкновенной своей гордостью.

Гордился он прямо-таки всем: фамилией своей, и ростом, и капиталом, и тем, что покойный царь с ним в шашки игрывал и по щекам его дружески хлопал...

Разные уморительные анекдоты существовали об его безмерном тщеславии.

Рассказывали, будто в любовницах всегда у него были самые красивейшие женщины. Красивей всех. А один известный барон вывез откуда-то столь необыкновенно прекрасную девицу, что сразу затмил Зубова. Не мог перенести это Зубов. За огромные деньги перекупил он девицу эту и всюду на показ водил ее... А была девица эта из мешаночек. И при чудной красоте своей имела руки мужицкие, красные... Так два года перед тем продержал ее Гаврила Васильевич взаперти и два года не снимал с нее кожаных перчаток. А как снял, так руки стали у ней белейшие, с прожилками.

Ах, ей-богу, до чего был гордый человек!

Рассказывали, будто на визитных своих карточках, кроме корон и всяких наименований, печатал он собственный вес — 9 пудов. Но неизвестно, может быть, это была неправда.

Известно только, что в сорок лет он не смог ужиться с людьми, и по великой своей гордости и презрению к людям выехал в имение свое Зубово. И там он от всех закрылся. Никуда не выезжал, и к нему никто не ездил. Наезжали, впрочем, к нему разные некрупные помещики, но Гаврила Васильевич принимал их строго: называл на ты, руки не подавал и садиться перед собой не приказывал. И всех считал дрянью, разночинцами или купчишками. Некоторые дворянчики безмерно от того обижались, но ихняя обида оставалась при них.

Пять лет прожил он сиднем, на шестой все и случилось. А пять лет жил он до того скучно, что будь это другой человек, непременно бы он повесился.

Была у него в любовницах Ленка — девка простая и, как все равно, индюшка, глупая. Жила она в верхнем этаже, целые дни кушала халву и грецкие орехи и валялась на постелях.

Гаврила Васильевич поднимался к ней редко. И даже в такие дни с ней не разговаривал. Да и она сама перед ним робела.

А день у него проходил от еды до еды. Днем, без всякой на то нужды, ходил Гаврила Васильевич по своим апартаментам и на глаза никто не смел ему показываться. А к вечеру, бывало, на кровать он свою

ляжет, балдахином прикроется и велит камердинеру Гришке книги читать.

Сядет Гришка в соседней комнате, дверь в барскую опочивальню прикроет и оглушительным басом кричит ему разные повести и романы.

Но иной раз, в добром душевном расположении, выходил Гаврила Васильевич в сад и приказывал палить из пушки. Стояла у него в саду пушка старинная и стреляла она каменными ядрами. Ну, стрельнут из нее раз, другой, Гаврила Васильевич рукой махнет — дескать, достаточно, будет, и снова в свои апартаменты. И ходит, и ходит, даже посторонних тоска берет.

Иной раз устраивал Гаврила Васильевич балы. Да только это были совсем удивительные балы. Пятнадцать музыкантов на хорах трубили в инструменты вальсы и мазурки, а Гаврила Васильевич один во всем зале ходит взад и вперед, в кресла присаживается и опять ходит...

Так вот жил Гаврила Васильевич в своем Зубове побольше пяти лет. А был у него некий человек, вроде как бы его приказчик или управляющий. Ходил этот приказчик за барином своим в трех шагах, в разговоры не лез, молчал, как утопленник, и все припадал к барской ручке.

За это Гаврила Васильевич весьма его полюбил и даже приблизил. Его-то однажды Гаврила Васильевич позвал в свои апартаменты и сказал:

— Род мой древний и знаменитый, ежели в ближайшие сроки не женюсь, то окончится на мне фамилия. Угаснет род. Что делать — ума не приложу. А только требуется мне невеста хороших кровей.

Бросились люди по всей губернии... Стали разыскивать, опрашивать, где какая существует девица хороших кровей, но нигде не нашли. Все проживали мелкота и купчишки.

Стали наезжать к Гавриле Васильевичу старушки разные. Бывало, такая старушка придет, Гаврила Васильевич ее примет, послушает, а после как по столу тяпнет.

— Да ты про что врешь?

— Как это вру? Предлагаю, дескать, дворяночку.

— Кому предлагаешь? Говори, кому предлагаешь. Кто я такой?

— Зубов. Помещик Зубов.

Гаврила Васильевич только усмехался.

— Зубов! А кто такой Зубов? Да знаешь ли ты, матушка, что Зубов в бархатную книгу вписан? Да со мной император не раз в шашки играл!.. Да лучше я на девке простой женюсь, чем дворяночке поеду кланяться.

Приказчику Гаврила Васильевич заявил:

— Ежели в течение года невесты хороших кровей не найду, то непременно и обязательно женюсь на Ленке. Пушай весь мир погибает!

А вскоре отыскивали эту невесту. Явился человек и доложил:

— Проживает в десяти верстах за Гнилыми Прудами старая княгиня Мухина. Богатством она не отличается, но кровей хороших и пресвосходных. При ней, дескать, дочка. А какова дочка, какой внешности и какой, например, у ней нос — никто не знает. Может быть, она и очень хороша, а, может быть, и хроменькая — никто об этом не знает и ее не видал.

Ужасно тут обрадовался Гаврила Васильевич.

— Ладно, — говорит, — какая бы она ни была, но раз хороших кровей, то дело сделано.

Приказал он из пушки стрелять и в тот же день отбыл к князьям Мухиным.

Приехал. Ждет. Старушка к нему выходит. Старушка весьма гордая... Капот... Наколочка... Разговор все время французский...

Посмотрел на нее Гаврила Васильевич — остался доволен. Кровей, думает, хороших. Сомнения нету.

А она:

— Зачем, дескать, батюшка, пожаловали? По каким это делам? А мы-то тут сиднем сидим и из высшего света никого не видим.

Гаврила Васильевич ей отвечает:

— Насчет высшего света я с вами много не буду распространяться, я пожаловал сюда не мух ловить, а серьезное дело делать. Примите мое предложение — прошу ручку вашей дочери.

Старушка совершенно тут растерялась, про себя бубнит, по апартаментам мечется.

— Как? Что такое? Да разве вы знаете княжну Липочку?

— Нет, — отвечает ей гордо Гаврила Васильевич, — княжну я не знаю и знать не хочу, а прошу ее руки заочно. Пушай входит и мне представляется.

Ужасно тут забеспокоилась старушка.

— Ох, — говорит, — если так, то сейчас, сейчас. С минутку обождите. Кушайте пока чай с печеньями.

И сама за дверь вышла.

Осмотрел Гаврила Васильевич комнату. Видит, фамилия князей Мухиных небогатая: все стоит развалившись, мебель и диваны рваные.

«Ну, — думает, — мне это все равно, не за мебелью я приехал, мебель всегда заново обить можно, а мне кровь важна».

И вот, выходит снова старушка, с дочкой, княжной Олимпиадочкой. Княжна хроменькая и собой столь ужасно некрасива, что и выразиться трудно. Носишко совсем малюсенький, рост и телосложение тем более мизерное, волосенки жидкие — ни кожи, ни рожи.

Осмотрел ее Гаврила Васильевич и говорит:

— Ну, что ж делать! Мне с лица ее не воду пить. От слов своих не отрекаюсь — что сказал, то и свято. Приданым я интересуюсь мало — что дадите, то и ладно. Род мой старинный и знаменитый, и мне не купчиха нужна, а кровь хорошая. Объявляю ее своей невестой.

Была княгиня Мухина хоть и небогатая, но претензий и апломбу у ней было много.

— Так-то так, — говорит, — но вы с ней весьма мало знакомы, только раз и виделись. Ни любви, ни романа, ни ревности — это даже странно и не по этикету. Но если вы так торопитесь, то напишу-ка я сегодня Володичке в гвардейский полк, пусть над сестрой он сам распоряжается.

А княжна Олимпиадочка по апартаментам ходит, ножкой своей волочит и все соглашается:

— Ах, ма мер, да пусть он женится, я согласна.

Гаврила Васильевич сказал:

— Ладно. Пишите письмо. Ждать я еще могу. — Сказал он еще несколько светских слов по-французски и с тем и уехал.

Вот прошла неделя, две... Гаврила Васильевич веселится, из пушки бьет, балы устраивает...

Наконец — дежурный скачок. Докладывает: приехал, дескать, князь Мухин, только с парохода слез.

Целые сутки провел Гаврила Васильевич в нетерпении, на другой день велел собираться. Запрягли двенадцать лошадей, трубачи впереди, сзади собак целая свора — и тронулись.

Но не доехал еще Zubov до Гнилых Прудов, как велел остановиться. Остановились. Стоят.

Гаврила Васильевич думает:

«Что ж это я, как мальчишка, скачу? И к кому? К какому-то офицерушке! Я в бархатную книгу вписан, со мной император запросто в шашки играл... Назад!»

Вернулся Гаврила Васильевич в Zubovo, лишь один скачок на княжеский двор приехал. А во дворе князю, поручику Мухину, лошадей запрягают. Расспросы: что? как? почему? Неизвестно. Велели распрягать.

К вечеру узнается: Гаврила Васильевич вернулся с пути, не доехав до Гнилых Прудов.

Проходит день, два и три — оба, из гордости, сидят дома. Наконец, через неделю, князь Мухин присылает в Zubovo скачка.

Сидел в то время Гаврила Васильевич на балконе у Ленки и халву кушал.

Скачок с лошади не слез и ворот просил не запирать. Он посмотрел на Zubova с нахальством, шапки перед ним не снял и сказал на весь двор громко:

— Его сиятельство, князь Мухин, велели доложить, что им чихать хочется на ваше благородство.

Гаврила Васильевич едва не выпал из балкона. А скачок еще сказал:

— Его сиятельство, князь Мухин, велели доложить, что в свое время таких благородных они на конюшнях парывали.

Услышали люди такие слова, враз попрятались, и, как ни кричал Гаврила Васильевич, из робости никто не вышел.

Как ударил тут скачок коня, так за воротами и скрылся вмиг.

В ужасной ярости плевал Гаврила Васильевич вниз, ногами бил, кричал:

— Держи! Трави собаками!

Выбежал он сам во двор, но скачок был далеко. Моментально приказал Гаврила Васильевич выкатить пушку на дорогу и велел стрелять.

Три раза заряжали пушку и стреляли вслед, но скачка уж и не видно было — только пыль вздымалась по дороге.

Вернулся Гаврила Васильевич домой, появился несколько дней и вдруг затих. Он призвал приказчика и сказал ему:

— Мнения своего не изменю. На хроменькой княжне женюсь, но прежде ужасно оскорблю и унижу князя Владимира. Но как это сделать — ума не приложу.

Бросились тут люди в Петербург и в Москву. За неделю разузнали, как и что. Доложили: проживает князь, поручик Мухин, в Петербурге, по кабакам ходит, кутит и в деньгах чересчур нуждается.

И неизвестно, как уж дальше вышло — деньгами или хитростью, но собрал Гаврила Васильевич против Мухина обличительные документы, расписки денежные и даже подпись одну фальшивую.

Написал ему письмо. Приезжайте, дескать, срочно, иначе угрожает вам каторга.

В три дня обернулся князь Мухин и прибыл в Zubovo. Ужасно бледный, прошел он в апартаменты Гаврилы Васильевича, почтительно ему поклонился, но сказал с усмешкой:

— Вот, говорит, когда пришлось нам свидеться. Говорите скорей, что за документы требуете.

Гаврила Васильевич на поклон не ответил, лишь усмехнулся только и говорит:

— Решай: либо тебе в каторгу идти и тем самым навеки погибнуть, либо я тебя высеку, документы отдам и на княжне Липочке женюсь.

Вскипел сначала князь Мухин, схватился даже за оружие, стрелять хотел. Раздумал. Хотел уйти, дошел до двери, вернулся.

«Что ж, — подумал, — я человек погибший, из полка мне все равно уйти, а тут — либо покориться и тем самым документы вернуть и честное имя восстановить, либо в каторгу».

Подошел он к Гавриле Васильевичу, говорит тихо:

— Делайте, что хотите.

А сам мундир снял, погоны отвязал, бросил их на землю, растоптал ногами...

Крикнул тут Гаврила Васильевич камердинера Гришку, велел ему стегать князя Мухина, но не дался Мухин.

— Нет, — говорит, — такого уговора не было, чтоб меня лакей стегал.

Ужасно это понравилось Гавриле Васильевичу, рассмеялся даже.

— Ну, — говорит, — вижу, ты хороших кровей. Хвалю. Но мнения своего не изменю.

Взял он с этими словами арапник и самолично постегал князя Мухина. Поднялся князь Мухин, дрожит. Накинул на себя мундир.

— Давайте, — говорит, — документы.

— Нет, — сказал Гаврила Васильевич, — документов я тебе не дам.

Страшно побледнел князь Мухин, заплакал с досады, бросился во двор к лошадям... Гаврила Васильевич его вернул.

— Да, — говорит, — документов я тебе не дам. Пусть придет за ними сестра, княжна Липочка.

Заплакал снова от обиды князь Мухин, ничего не сказал и вышел.

И прошло несколько дней, является княжна Липочка. Явилась она вне себя, пешком, волосенки у ней сбились на сторону, идет — трясется.

Увидел ее из окна Гаврила Васильевич, усмехнулся, крикнул камердинера Гришку и велел передать ей бумаги. А сам не вышел. Только глянул в окно, как по двору она шла, постоял недолго, бросился после к воротам. Стоит и вслед смотрит, нахмурившись. А княжна Липочка идет по дороге, бумаги в руке зажала, торопится и по пыли за собой ножку волочит.

3. Конец

Старичок вынул розовый свой платок, высморкался, вытер свои глазки и замолчал. Я взглянул на Гаврилу Васильевича. Он все еще сидел на земле. Он собирал крошки в ладонь и высыпал их в рот.

— А дальше? — спросил я старичка.

— Все.

— Позвольте, а как он Зубово сжег — вы не рассказали. А Ленка что?..

Старичок посмотрел на меня косо.

— Ну и сжег, — сказал он. — Как про революцию услышал, так и сжег. Сжег и нас не спросил. И нагишом ушел... А вы тут кто такой?

— Позвольте, — удивился я, — вы же сами рассказывали...

— Рассказывал! — закричал старичок, наседая на меня. — А вы кто такой? Чего вам нужно? С флагами, небось, ходили, идеи разные разглашали, ну и проходите себе... Не задерживайте людей расспросами.

В это время Гаврила Васильевич поднялся тяжело с земли и, странно покачиваясь и дергая как-то ногами, пошел с базара.

Мой старичок посмотрел на него, засуетился, махнул рукой и пошел от меня прочь.

— Позвольте, голубчик, — закричал я ему вслед. — А как же Зубов? Женился он на княжне Липочке?

Старичок остановился, вынул свой платок, покачал головой и сказал:

— Не женился. Утонула княжна Липочка. Как в тот день из Зубова ушла, так и домой не вернулась. В Гнилые Пруды бросилась.

Старичок заморгал глазками, махнул рукой и вдруг побежал. Я долго смотрел ему вслед.

Он бежал, размахивая ковром, смешно подбирая ноги. Потом он поравнялся с Зубовым и они пошли вместе.

РАССКАЗ ПРО ПОПА

Утро ясное. Озеро. Поверхность этакая, скажем, без рябинки. Поплавков. Удочка.

Ах, ей-богу, нет ничего на свете слаше, как такое препровождение времени.

Иные, впрочем, предпочитают рыбу неводом ловить, переметами, подпусками, мережками, английскими со звонками приспособлениями... Но пустяки это, пустяки. Простая, натуральная удочка ни с чем не сравнима.

Конечно, удочка нынче разная пошла. Есть и такая: с колесиком вроде бы. Леска на колесико накручивается. Но это тоже пустяки. Механика. Ходит, скажем, такой рыбарь по берегу, замахнетя, размахнется, шлепнет приманку и крутит после.

Пуškai крутит. Пустяки это. Механика. Не любит этого поп Семен. Попу Семену предпочтительней простейшая удочка. Чтоб сидеть при ней часами можно, чтоб сидеть, а не размахиваться и не крутить по-пустому, потому что, если крутить начнешь, то в голове от того совершенные пустяки и коловращение. Да и нету той ясности и того умиротворения предметов, как при простой удочке.

А простая натуральная удочка... Ах, ей-богу! Сидишь мыслишь. Хочешь — о человеке мыслишь. Хочешь — о мироздании. О рыбе хочешь — о рыбе мыслишь. И ни в чем нет тебе никакого запрета. То есть, конечно, есть запрет. Но от себя запрет. От себя поп Семен наложил запрет этот.

Обо всем поп Семен проникновенно думал, обо всем имел особое суждение и лишь об одном не смел думать — о Боге.

Иной раз воспарится в мыслях — черт не брат. Мироздание — это, мол, то-то и то. Зарождение первейшей жизни — органическая химия. Бог... Как до Бога доходил, так и баста. Пугался поп. Не смел думать. А почему не смел, и сам не знал. В трепете перед Богом воспитан был. А отрывками, впрочем, думал. Тихонечко. Мыслишку одну какую-либо допустит и хватит. Трясутся руки. А мыслишка — какой это Бог? Власть ли это созидающий или иное что. И после сам себе:

— Замри, поп Семен. Баста! Не моги про это думать...

И про иное думал. Отвлекался другими предметами.

А кругом — предметов, конечно, неисчислимое количество. И о каждом предмете свой разговор. О каждом предмете — разнохарактер-

ное рассуждение. Да и верно: любой предмет, скажем, взять... Нарочно взять червячишку дождевого самого поганенького. И тотчас двухстороннее размышление о червячишке том.

— Прежде — откуда червяк есть? Из прели, из слизи, химия ли это есть органическая, или тоже своеобразной душонкой наделен и Богом сделан?

Потом о червяке самом. Физиология. Дышит ли он, стерва, или как там еще иначе... Неизвестно, впрочем, это. Существо это однообразное, тонкое — кишка, вроде бы. Не то что грудкой, но и жабрами не наделен от природы. Но дошла ли до этого наука или наука про это умалчивает — неизвестно.

Ах, ей-богу — великолепные какие мысли! Не иначе, как в мыслях познается могущество и сила человека...

Дальше — поверхностное рассуждение, применимое к рыбной ловле... Какой червяк рыбе требуется? А рыбе требуется червяк густой, с окраской. Чтоб он ежесекундно бодрился, сукин сын, вился чтоб вокруг себя. На него, на стервеца, плюнуть еще нужно. От этого он еще пуше бодрится, в раж входит.

Вот, примерно, такое могущественное, трехстороннее рассуждение о поганом червяке и также о всяком предмете, начиная с грандиозных вещей и кончая гнусной, еле живущей мошкой, мошкаркой или, скажем, каракатицей.

От мыслей таких было попу Семену величайшее умиротворение и восторг даже.

Но Бог... Ах, темная это сторона. Вилами все на воде писано... Есть ли Бог или нету его? Власть ли это? А ежели власть, то какая же власть, что себя ни в какой мере не проявит? Но:

— Замри, поп Семен, баста!

И, может быть, так бы и помер человек, не думая про Бога, но случилось незначительное происшествие. Стал после того поп сомневаться в истинном существовании Бога. И не то чтобы сам поп Семен дошел до этого путем своих двухсторонних измышлений — какое там! Встреча. С бабой была встреча. С бабой был разговор. От разговора этого ни в какой мере теперь не избавиться. Сомненья, одним словом.

А пришел раз поп к озеру. Утро. Тихая такая благодать. Умиротворение... Присел поп Семен на бережок...

«Про что же, — думает, — сегодня размышлять буду?»

Червяка наживил. Плюнул на него. Полюбовался его чрезмерной бодростью. Закинул леску.

— Ловись, — сказал, — рыбка большая, ловись и маленькая.

И от радости своего существования, от сладости бытия засмеялся тихонечко.

Вдруг слышит смех ответный. Смотрит поп: баба перед ним стоит. Не баба, впрочем, не мужичка то есть, а заметно, что из города.

«Тьфу на нее, — подумал поп. — Что ей тутотко приспичило?»

А она-то смеется, а она-то юбкой вертит.

— Пи-пи-пи... А я, — говорит, — поп, учительница. В село назначена. Значит, будем вместе жить... А пока — гуляю, видишь ли. Люблю, мол, утром.

— Ну что ж, и гуляйте, — сказал тихонько поп.

Смеется.

— Вот, — говорит, — вы какой! Я про вас, про философа кой-чего уже слышала.

«Ну и проходите, мол, дальше!» — подумал поп.

И такое на него остервенение напало — удивительно даже. Человек он добрый, к людям умильный, а тут — неизвестно что. Предчувствие, что ли.

— А чего, — говорит, — слышала?

— Да разное.

Она на него смотрит, а он сердится.

— Чего, — говорит, — смотрите? На мне узоров нету...

И такая началась между ними нелюбезная беседа, что непонятно, как они уж дальше говорить стали.

Только поп слово, а она десять и даже больше. И все о наивысших материях. О людях — о людях. О церкви — о церкви. О Боге — о Боге... И все со смешком она, с ехидством. И все с вывертами и с выкрутасами всякими.

Растерялся даже поп. Неожиданность все-таки. Больше все его слушали, а тут — не угодно ли — дискуссия!

— Церковь? И церкви вашей не верю. Выражаю недоверие. Пустяки это. Идолопоклонство. Бог? И Бога нету. Все есть органическая химия.

Поп едва сказать хочет:

— Позвольте, мол, то есть, как это Бога нет? То есть, как это идолопоклонство?

А она:

— А так, — говорит, — и нету. И вы, — говорит, — человек умный, а в рясе ходите... Позорно это. А что до храмов, то и храмы вздор. Недомыслие. Дикарям в пору. Я, мол, захожу в храмы, а мне смешно. Захожу, как к язычникам. Иконы, ризки там всякие, святые — идолы. Лампадки — смешно. Свечи — смешно. Колокола — еще смешнее. Позорно это, поп, для развитых людей.

И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью такой неимоверной заявила про Бога: нету, дескать. Сами-то не верите. Или сомневаетесь.

— То есть, как же, — сказал поп, — сомневаюсь?

И вдруг понял с ясностью, что он и точно сомневается. Орбел совсем поп. Копнул в душе раз — туман. Копнул два — неразборчивость. Не думал об этом. Мыслей таких не было. И точно: какой это Бог? Природа, что ли? Существо?

Раскинул поп мозгами. Хотел двухсторонне размыслить по привычке, а она опять:

— Идолопоклонство... Но, — говорит, — вот что. Если есть Бог, то допустит ли он меня преступление перед ним совершить, а? Допустит? Отвечай, поп.

— Не знаю, — сказал поп. — Может, и не допустит... Ведьма ты... Вот кто ты. Уйди отсюда.

Засмеялась.

— Пойдем, — говорит, — поп, в церковь, я плюну в царские врата.

Раскидал поп червяков. Удилище бросил. Ничего на это учительнице не сказал и пошел себе.

И сам не заметил, как пошел с великим сомнением. Точно: что за пустяки... Ежели Бог есть — почему он волю свою не проявит? Почему не разожит на месте святотатку? Что за причина не объявить себя хоть этим перед человечеством? А ведь тогда бы и сомненья не было. Каждый бы тогда поверил. А так... Может, и точно, Бога нету... Идолопоклонение.

И заболел поп с тех пор. Заболел сомнением. Не то что покой свой потерял, а окружающих извел до невозможности. Матушку тоже извел до невозможности. Ненормальный стал.

Рыбу ли удит, — «Ежели, — думает, — ерш — Бог есть. Ежели не ерш — нету».

Плачет матушка обильно, на попа гляючи. Был поп хоть куда, мудрил хотя, о высоких предметах любил выражаться, а тут — сидит у окна, ровно доска.

«Ежели, — думает, — сейчас мужик пройдет, — есть Бог, ежели баба — нету Бога»...

Но всякие прохожие проходили, — и мужики, и бабы, — а поп все сомневался.

И задумала уж матушка прошение в уезд писать, да случилось такое: просветлел однажды поп. Пришел он раз ясный, веселый даже, моргает матушке.

— Вот, — говорит, — про бога, матушка, это у меня точно — сомнение. Не буду врать. Но ежели есть Бог, то должен он мне знаменья дать, что он точно существует. Кивнуть мне должен, мигнуть; дескать, точно, существую, мол, и управляю вселенной. Ежели он знаменья не даст — нету его.

— Пустяки это, — сказала матушка. — Чего тебе до Бога? Мигнуть... Ох, болен ты, поп...

— Как чего? — удивился поп. — Вопрос этот поднапрел у меня. Я поверю тогда. А иначе и службу исполнять не в состоянии. Может, идолопоклонение это, матушка.

Промолчала матушка.

Стал с тех пор поп знаменья ждать. Опять извелся, расстроился, вовсе бросил свое рыбачество. Ходит, как больной или в горячке, во всякой дряни сокровенный смысл ищет. Дверь ли продолжительно скрипнет, кастрюлька ли в кухне рухнет, кошка ли курнавчит — на все

подозрение. Мало того: людей останавливать стал. У мужиков ответа просить начал. Остановит кого-либо:

— Ну, — спрашивает, — брат, есть ли по-твоему Бог, или Бога нету?

Коситься стали мужички. Хитрит, что ли, поп. Может, тайную цель в этом имеет.

И дошло однажды до крайних пределов — метаться стал поп. Не в состоянии был дожидаться знаменья. Ночью раз раскидался в постели, горит весь.

«Что ж это, — думает, — нету, значит, Бога. Обман. Всю жизнь, значит, ослепление. Всю жизнь, значит, дурачество было... Ходил, ровно чучело, в облачении, кадилом махал... Богу это нужно? Ха! Нужно Богу? Бог? Какой Бог? Где его знаменье?»

Затрясся поп, сполз с постели, вышел из дому тайно от матушки и к церкви пошел.

«Плюну, — подумал поп, — плюну в царские ворота»...

Подумал так, устранился своих мыслей, присел даже на корячки и к церкви пополз.

Дополз поп до церкви.

«Эх, — думает, — знаменье! Знаменье прошу... Если ты есть, Бог, обрушь на меня храм. Убей на месте»...

Поднял голову поп, смотрит — в церкви, в боковом окне — свет.

Потом облился поп, к земле прильнул, пополз на брюхе. Дополз. Храм открыт был. В храме были воры.

На лесенке, над иконой чудотворца стоял парень и ломиком долбил ризу. Внизу стоял мужик — поддерживал лесенку.

— Сволочи! — сказал парень. — Риза то, брат, никакая — кастрюльного золота. Не стоит лап пачкать... И тут Бога обманывают...

Поп пролежал всю ночь в храме.

Наутро поп собрал мужичков, поклонился им в пояс, расчесал свою гриву медным гребешком и овечьими ножницами обкарнал ее до затылка. И стал с тех пор жить по-мужицки.

БЕДНЫЙ ТРУПИКОВ

Учитель второй ступени Иван Семенович Трупииков одернул куцый свой пиджачок, кашлянул в руку и робкими шагами вошел в класс.

— Вы опять опоздали? — строго спросил дежурный.

Иван Семенович сконфузился и, почтительно здороваясь с классом, тихо сказал:

— Это трамвай, знаете ли... Это я на трамвай не попал...

— Отговорочки! — усмехнулся дежурный.

Учитель робко присел на кончик стула и зажмурил глаза. Странные воспоминания теснились в его уме...

Вот он, учитель истории, входит в класс, и все ученики почтительно встают. А он, Иван Семенович Трупииков, крепким строгим шагом идет

к кафедре, открывает журнал и... ах, необыкновеннейшая тишина водворялась тогда в классе! И тогда Трупииков строжайше смотрел в журнал, потом на учеников, потом опять в журнал и называл фамилию.

— Семенов Николай!

Учитель вздрогнул, открыл глаза и тихо сказал:

— Семенов...

— Чего надо? — спросил ученик, рассматривая альбом с марками.

— Ничего-с, — сказал учитель. — Это я так. Не придавайте значения.

— Чего так?

— Ничего-с... Это я хотел узнать — здесь ли молодой товарищ Семенов...

— Здесь! — сказал Семенов, разглядывая на свет какую-то марку.

Учитель прошелся по классу.

— Извиняюсь, молодые товарищи, — сказал он, — на сегодня вам задано... то есть я хотел сказать... предложено прочитать — реформы бывшего Александра I. Так, может быть, извиняюсь, кто-нибудь расскажет мне о реформах бывшего Александра I... Я, поверьте, молодые товарищи, с презрением говорю об императорах.

В классе засмеялись.

— Это я так, — сказал учитель. — Это я волнуюсь, молодые товарищи. Не истолковывайте превратно моих слов. Я не настаиваю. Я даже рад, если вы не хотите рассказывать... Я волнуюсь, молодые товарищи...

— Да помолчи ты хоть минуту! — раздался чей-то голос. — Трешит как сорока.

— Молчу. Молчу-с... — сказал учитель. — Я только тихонько. Я тихонько только хочу спросить у молодого товарища Семечкина, — какие он извлек политические новости из газеты «Правда?»

Семечкин отложил газету в сторону и сказал:

— Это вы что — намек? Газету по-вашему убрать? Эту газету убрать? Да знаете ли вы... Да я вас за это...

— Ничего-с... ничего-с... Ей-богу, ничего... То есть про Бога я ничего не сказал... Не истолковывайте превратно.

Учитель в волнении заходил по классу.

— Да не мелькай ты перед глазами! — сказал кто-то. — Встань к доске!

Учитель встал к доске и, сморкаясь в полотенце, тихонько заплакал.

Нынче таких учителей, как мой бедный Трупииков, конечно, нету. Но были. Они были в 18 году, в переходное время.

МЕТАФИЗИКА

Удивительно, как это некоторые девицы на конторщика Винивитькина засматриваются.

Конечно, конторщик Винивитькин — мужчина изысканный, но все же поразительное это явление. Ну, если б две девицы или, скажем, три, а то ведь все. Смешно даже.

Надюша-переписчица и та намеки делает. Егозит. Давеча ведь какую туманную аллегория пустила...

— Одного, — говорит, — писателя обожаю... Лермонтова, — говорит, — обожаю за его чудный слог.

И при этих словах на него, на Винивитькина, взглянула.

Хе-хе... Намекает... Туманная аллегория. Знаем мы этого Лермонтова.

Ну, скажи подобные слова простачку. Губы распустит простачок. Ни черта в аллегориях не поймет. А Винивитькин всю подноготную видит.

Отбою нет Винивитькину от девиц. Надоело отмахиваться. Ну а уж если, например, выбор делать, так со всего учреждения, со всей «Губмогилы» непременно полное предпочтение Надюше отдать нужно.

Прелестная это девица. Очень даже изысканная барышня. Она и собой великолепна, и из дворяночек. С такой-то нигде не позорно показаться. Таковую-то и обождают после службы можно.

Да что говорить? Ждет Винивитькин. Ежедневно ждет. Нынче тоже пойдет Винивитькин с Надюшей плечо к плечу. Сейчас и выйдет куколка. Носишко только попудрит и выйдет.

Да-с, дворяночка, а ведь как егозит. Чувствует, шельма, что он, Винивитькин, осчастливить ее может. Да только насчет серьезного шага — атанде-с. Обождают нужно. А только прогулки ради — пожалуйста. Очень даже это приятно и все такое...

А великолепная штука это — равенство. Раньше и не посмотрела бы Надюша на Винивитькина, а нынче, виноват, нынче конторщик Винивитькин дворяночку эту за прелестную ручку, и пожалуйста.

Умные люди революцию делали. И ему, Винивитькину, кой-что достанется. Немногое, конечно, но достанется.

Да что толковать? Надюша достанется.

А и любит же она его, шельма. Ах как любит мучительно. Ишь ты, как носишко свой продолжительно пудрит. Понравиться хочет. Что ж? Можно и обождают. Локончик, может, какой-нибудь раскуделился. И локончик этот для него, для Винивитькина, в порядок привести нужно.

Что ж? Обождет Винивитькин. Свободный он человек. До четырех — да, перо и книги, а после-то Винивитькин — свободный орел. Вот захочет — закурит сейчас. Вот, пожалуйста, и папиросочка. Захочет — на приступочку сядет, плюнет, наконец. И никто ему ни полсловечка не скажет. Гм, никто... Да сам комиссар «Губмогилы» ничего не может сказать. Свободный орел.

А если, скажем, и точно: выйдет сейчас комиссар...

— А зачем, мол, скажет, ты, Винивитькин, сидишь на казенной приступочке или, например, плюнул?

Пожалуйста. Полный ответ готов:

— Так и так, товарищ комиссар. В служебное время — да, перо и книги. А тут — виноват. Мое право. Не позволю, товарищ комиссар. Тут я орел гордый.

Хе-хе. Хорошо сказано. Плотно сказано. Ну, а если товарищ комиссар такое скажет:

— А зачем, мол, скажет, ты, Винивитькин, девицу ждешь? Укажи цель и потребность. И что про любовь, например, думаешь? Дозволено ли это чувство? Не является ли оно бессмысленной метафизикой и поповской выдумкой?

Опять-таки скажет Винивитькин:

— Цели, мол, никакой не преследую, что же касается любви, то нынче любви никакой нету, а просто есть половое развлечение. Вообще же чувство любовь — это метафизика, а церковь — вздор и поповская выдумка.

Хе-хе... Плотно сказано...

Ну, а если товарищу комиссару вожжа под хвост, и скажет он... персонально полюбопытствует:

— А зачем, мол, скажет, ты, Винивитькин, плут и ипохондрик, именно эту, переписчицу Надюшу, ждешь? И что, рассуждая о конечном результате, о браке думаешь?

Ответит Винивитькин такое:

— А почему бы, ответит, не ждать Надюши, если ему, конторщику восьмого разряда, девица эта всем эстетическим запросам удовлетворяет? Рассуждая же о браке, конечный результат — брак гражданский без участия церковной метафизики.

Хе-хе, размечтался Винивитькин. А в мечтаниях и время быстро проходит.

Ну, а если товарищ комиссар в глубину копнется... Если товарищ комиссар, например, спросит о дворянском происхождении Надюши?.. И дозволено ли ему, Винивитькину, усть-ижорскому мещанину...

Хе-хе... Замри, Винивитькин. Вот, пожалуйста, идет куколка. Но-сишко попудрила и идет. Топает ножками.

Точно: Надюша по лестнице шла. Да только не одна, а с комиссаром под руку. Покачнулся Винивитькин, побледнел... А они мимо прошли плечо к плечу. Комиссар Винивитькина увидел. Пальцами заинтересовался, пальцы свои стал рассматривать. А Надюша и но-сишко в сторону.

Ну что ж? Большому кораблю — плаванье большое. Да только обидно очень — не посмотрела Надюша. А стоял Винивитькин довольно в презрительной позе.

Ах, несуразное вышло, смешное вышло. И что, например, сделать? Догнать? Крикнуть что-нибудь похабное?

Стоит Винивитькин на дороге, руками машет, советуется сам с собой. Баба шла. Баба эта прельбно пихнула его в бок.

— Ну, мыбра, — сказала баба, — думаешь, надел американские сапоги, так и беременных людей руками задевать можешь.

— Пихайте меня, — ответил Винивитькин, — пихайте. Нынче и личность не считается.

И побежал вдруг Винивитькин. Перегнал комиссара с Надюшей.

— До свиданья, товарищ комиссар, — сказал. И пошел, руками размахивая.

МЕМУАРЫ СТАРОГО КАПЕЛЬДИНЕРА

Мне все говорят: почему бы вам, Григорий Палыч, записки этикие не написать, — мемуары, вроде бы. Вы человек семейный, впечатлительный и не чужды культурного просвещения, вы двадцать лет, так сказать, капельдинером состояли и к сцене соприкасались... И это верно: я двадцать лет служил искусству и того знаю, чего, прямо скажу, не всякий артист знает. Иной артистишка — дрянь, мальчишка, а перед тобой рыло дерет. Как был у нас такой театральный парикмахер Ферафонг — чуть что: я артист, дескать... Но врешь, брат, про таких артистов я и не вспомню, а буду-ка я говорить про замечательных артистов.

* * *

Вот Шаляпин артист, конечно, хороший. Он бас очень даже замечательный. Так сказать, знаменитый и исторический бас на всем полушарии.

Но, однако, голос у него не такой уж чересчур громкий, как некоторые воображают себе. Некоторые, может быть, представляют, или введены в сомнение, что голос у него такой чересчур громкий, что зеркала будто дребезжат и занавес вьется, так скажу прямо: ничего то есть подобного.

Голос у него вполне даже обыкновенный, человеческий, и ежели, например, мне в фойе выйти, так и едва слышно. А ежели на лестницу пройти или до ветру сходить, так и вовсе даже не того, не слышно, скажу прямо. Ну, а публика — дура, публика думает нивесть что и прет и прет, даже обидно, ей-богу. А которые без билета, хорошо дают.

* * *

А вот был у нас бас — Иван Ришкин — вот это был очень даже замечательный бас. Вот от такого голоса, действительно, было сотрясение предметов. Это многие подтвердят. Он некоторых даже в ужас вгонял, которые неопытные. Но только в хоре ему ходу не давали. Не мог он в хоре развернуть свой голос. Чуть он крепче возьмет, на него руками, шипят, штрафуют... Но только однажды из гордости взял одну ноту в полной своей мере.

Это мы «Русалку» ставили. Шаляпин — арию, а он, собачий хвост, как рывкнет, как рывкнет. Куда? Покрыл и Шаляпина, и хор покрыл.

Публика ошалела даже. Пожар думала... Да, в одну минуту доказал, что он за бас, в одну минуту развенчал Шалапина.

Ну, да всем известно — русским талантам ходу не дают — поперли его из хора. Так и пропал человек.

* * *

Глазунов тоже хороший артист. Он из капельмейстеров будет. Мужчина полный и представительный. Некоторые, конечно, утверждают, что крупнее его и нет никого, но это говорят необдуманно.

Я вот одного бывшего помещика знал, так куда там! Вот это был, действительно, крупнейший мужчина. Хоть по высоте он будет не так уж, чтобы выше, но в ширину сравненья нету. Но и в данном случае я, конечно, не спорю и отдаю должное. Глазунов мужчина, действительно, представительный.

* * *

А Вагнера я не люблю. Непонятный композитор. Много чересчур в барабан бьют, а толку нету. В такие дни я всегда лучше ухожу или с кем-нибудь меняюсь. А однажды я ушел, а у меня бинокль сперли. А с бинокля все-таки доход был хороший, и если балет идет, так только давай. Да, очень крупная неприятность.

* * *

Говорят, будто еще Юрьев хороший артист — не знаю. Он у нас в театре не поет.

МАДОННА

2 декабря

Сегодня день для меня, прямо скажу, необыкновенно приятный. Сегодня товарищ Груша позвал меня в кабинет и сказал:

— Ну, Винивитькин, сердечно и от души тебя поздравляю: переводишься ты в девятый разряд, и, того-этого, прибавка тебе следует — пятьдесят процентов.

Хе-хе — девятый разряд! Ведь это что же? Это, можно сказать, положение! Это превосходное положение по службе. Я думаю, всякий человек девятого разряда достичь старается. Я думаю, девятый разряд — ну, не меньше будет, как в старое время надворный советник. Нет, никак не меньше! Восьмой разряд — это дрянь, пустяки сушие — вроде бы коллежского регистратора, а девятый разряд... Да, девятый разряд — это уже положение. В прежнее время Степаныч сразу бы начал передо мной дверь в обе половинки открывать. Откроет и — «пожалуйте, дескать, ваше высокоблагородие». Не благородие, заметьте, не просто благородие, а — ваше высокоблагородие. Тонкость, а какая, как бы сказать, изумительная, благородная тонкость.

Ну да почет почетом, а и пятьдесят процентов не жук майский. Пятьдесят процентов! Это, скажем, питание улучшается — раз, это прихоть можно какую-нибудь себе позволить — два, это страстишку какую-нибудь там, того-этого, удовлетворишь можешь — три...

Ах, черт! Превосходная штука жизнь! Как подумаешь, что и ты участник, так сказать, течения жизни, колесико одно жизненного вращения, равноправный вроде бы пайщик человеческих переживаний — слезы подступают к горлу, рыдать хочется от неизмеримого счастья.

Да, превосходная вещь это — жизнь. И люди превосходные, бескорыстные... Главное, за что я люблю людей, это за их бескорыстие. Бескорыстие — это все в человеке. Вот, скажем, в девятый разряд не Сережку Петухова перевели, а меня... А почему меня? Бескорыстная оценка моей служебной деятельности. Ведь что, скажем, не один товарищ Груша перевел меня в девятый разряд, это, наверное, комиссия заседала, комиссия какая-нибудь либо комитет из благороднейших, избраннейших людей... Один какой-нибудь из комиссии, возможно, сдуру крикнул — Сережку, дескать, Петухова в девятый разряд перевести нужно, а все остальные — нет, нет! Винивитькина! Винивитькин, дескать, способный человек, одаренный.

Ах, я очень люблю, когда меня уважают. В такие минуты чувствуешь, что ты действительно участник течения жизни, колесико одно жизненного вращения...

Чудно, чудно хорошо!

3 декабря

Нынче после службы долго гулял по Невскому. Раньше-то и внимания не обращал — что это за такой Невский, какие на нем люди ходят и магазины какие. Ну а нынче, так сказать, к тайне прикоснулся. Увидел досконально, как приятно, в сущности, быть человеком. Ведь вот проходишь по Невскому и видишь и чувствуешь, что все для твоих удобств приустроено, каждая мелочь, всякий, скажем, квадратик тротуара для твоих ног устроен. А на тротуарах этих разнообразнейшие люди фланируют и спешат некоторые... И все перед тобой чуть что — извиняются... А ты идешь таким испанцем, небрежной, что ли, походкой и всё — пардонк, гражданин, пардонк, сударыня. И все сторонятся. Все такие благородные, бескорыстные люди. А кругом магазины, кругом блеск огней, кругом женщины так и щебечут, так и поют, кругом необыкновенное кипение жизни. Европа! Совершеннейшая Европа!

Да-с! Деньги получу и сам начну жить... хе-хе.

5 декабря

Деньги получу и сразу вступаю на поприще жизни. Пора. Пять лет жил как свинья. Да пять ли лет — а не десять? А не всю жизнь? Эх-хе-хе... Всю жизнь...

Давеча вот в душевном треволнении слишком много приписал лишнего... Конечно, жизнь эта, точно, хороша, однако же не так уж

хороша, как сразу подумать можно. В самом деле: все время жил как свинья, в театры не ходил, в обществе не бывал, а с дамами позабыл даже, когда и разговаривал. А все это на душу действует, от этого душа грубеет. Общество — это великая вещь. Я вот деньги получу — журфикс какой-нибудь устрою... А? Ну, хоть и не журфикс, а кой-кого приглашу. Общество всегда человека облагораживает... Многих-то, конечно, не стоит приглашать, а двоих-троих непременно приглашу. Или бо уж одного? Девицу, скажем, какую-нибудь. Девицы тоже могут облагородить душу...

Да, в самом деле, лучше-ка я девицу приглашу. Тоже ведь, позовешь того же Сережку Петухова, а ведь он, сукин сын, не за твои душевные данные придет, а он пожрать придет... Нажрет, напьет, чего-нибудь там разобьет да еще после издеваться будет.

Нет, позову-ка я и в самом деле девицу. И расходов куда как меньше, и благородней, если на то пошло. И корыстных расчетов никаких — полфунта монпансье, и все довольны.

Только вот кого я приглашу? Варьку приглашу. Ей-богу, Варьку Двуколкину приглашу. Все-таки — фигура, грация... Завтра намекну... Буржуйку, скажу, затоплю — уют, поэзия. А поэзия — это прежде всего.

6 декабря

Нынче после службы сказал Варьке Двуколкиной. В коридоре ее встретил, говорю: вот, дескать, того-этого — буржуйку затоплю, уют, поэзия...

А она, дура, говорит:

— Вы, говорит, если мной увлекаетесь настолько или влюблены, так лучше бы в «Палас» сводили либо в Академический билет приобрели. Чего, говорит, я буржуйки вашей не видела?..

Дура. Со слов видно, что совсем дура. Во-первых, денег я еще не получил, а после — нетактично даже с девицыной стороны самой напрашиваться. Ну и шут с ней! В ней, по правде сказать, ровнехонько ничего хорошего нет. Только что фигура, а так-то ни кожи, ни грации. Сидит, как лошадь... Да если присмотреться поближе, так и фигуры никакой. Да ей-богу никакой! Бревно. Вовсе бревно. Нет, не люблю я таких, шут с ними с такими. Им только корыстные цели подавай, а так, они и нос в сторону, и зевают, и скучно им... Шут с ними с такими. Думает — отказала, так я и помру. Дура! Сразу видно, что дура. Ни кожи, ни грации...

Ха, помру! Да я только свистну, и сотня ко мне сбежит. Нынче это чересчур просто. Нынче, что касается любовных там каких-нибудь историек — черт знает как просто. Только захотеть нужно. Давеча вот Сережка Петухов презанятную историйку такую рассказывал... В театр он пришел и в театре том с дамой познакомился. И ведь не какая-нибудь дама, а порядочная, черт знает какая порядочная. Ну, и нынче влюблена в него, как муха.

А я вот тоже давеча встретил — красавица, мадонна, костюм превосходный, меха разные, боты... Тоже мимо прошла — посмотрела.

Да, нынче нравственность чересчур упала. Сережка Петухов говорит, что будто это всегда после революций. Ну да мне наплевать, прямо скажу, мне даже еще лучше, что упала. Ей-богу, лучше. Да я думаю, что и всем лучше, да только прикидываются, подлецы. А я через это к жизни прикоснусь... Хе-хе...

8 декабря

Деньги получил! Вот они. Бумажки, тряпочки, а каково, того-этого, приятные тряпочки. Вот я их сейчас спрячу. Пускай в столе лежат.

А Варька-то Двухолкина какая дура! Рассчитывала, что я, того-этого, снова к ней обращусь, снова к ней сунусь. Вот, дескать, Варечка, билет в «Палас», а вот в оперу, а вот... Хе-хе... Мимо прошел. Дудочки, не на такого напала... Им только корыстные цели подавай.

Нет-с. Никак нет-с, не пропаду, Варечка, не помру — оставьте беспокоиться... Я только свистну... А может, я и свистнул. А может, черт меня раздери совсем, и есть у меня, того-этого, на примете, в поле зрения, так сказать... Да-с, Варечка, есть, есть. Прогадали, милочка, прогадали, лапочка, прогадали, поторопились со своими целями корыстными.

Есть у меня! Цимес, ландыш китайский, принцесса, Мадонна сикстинская... Сон, сон прямо-таки. Вчера еще не было, а нынче есть. Вчера еще сомненья были: вдруг да и точно пропаду, вдруг да и точно без меня кипение жизни происходит. Хе-хе. Ах, как приятно, как приятно чувствовать себя участником, равноправным колесиком жизни!

И как случилось-то? Обидно даже, что так просто случилось. То есть, конечно, еще ничего не случилось, ничего не произошло. Но случится, но произойдет. Оттого что причина на это есть. Встреча есть. Встреча эта, может, на всю жизнь в моей памяти останется... Нет, не могу... Сон, прямо-таки сон. Вышел на Морскую давеча (я всегда теперь от Гороховой по Морской хожу). Так вышел на Морскую, смотрю — чудо. Идет та же, что давеча встретил, идет. Боты... меха... глаза... грация. Цимес, ландыш китайский, мадонна! Только давеча, вчера то есть, хотя и посмотрела она на меня, но ничего особенного во взгляде ее не значилось, а нынче поравнялась, гляжу: плечиком — видь, ножками — дрыг, глазками того-этого... И все так грациозно, так приятно. Чудно! Чудно хорошо!

Однако не подошел. Не время. Завтра подойду. Завтра непременно подойду. Чего-нибудь скажу и подойду. Сережка Петухов говорит, что дамы нахальство обожают. Чем нахальней, тем лучше. Так вот нахально и подойду. Завтра! Завтра! Завтра вступаю на поприще, так сказать, жизни, приобщаюсь к тайнам ее. Питался хорошо. Съел в Пепо две порции гуся.

9 декабря

Нынче что-то ее не встретил. Шесть раз прошел по Морской — нету. Ну да ничего: сегодня не встретил, завтра встречу. Я пять лет ждал, пять лет как свинья жил. Чего ж мне сутки-то не обождать? Обо-

жду. Завтра еще и лучше. Завтра могу с ней в ресторан или, например, в кабаре пройтись. Завтра ведь я еще разницу получу, за экстру получу, долг мне Сережка Петухов отдаст. А вдруг — не отдаст? Отдаст. Скажу, дескать, ужасно как требуются деньги. Нужда, скажу, в презренных дензнаках. А причина, хе-хе, — шерше ля фам... Шерше ля фам! Этакое, правда, великолепное изречение! Французы это придумали. Ах, французы, французы! Культурная, цивилизованная нация. У них женщина в очень почетном месте... Это у нас женщина вроде бы домашней хозяйки, а там, того-этого, обаяние к ним, любовь.

Конечно, что касается любви, то я не того, не доверяю этому чувству, сомневаюсь, прямо скажу, в нем. Люди с высшим образованием, приват-доценты какие-нибудь, конечно, отрицать начнут, скажут, что любовь, точно, существует, однако, может, она и точно существует, как отвлеченное явление, да только мне наплевать на это, прямо скажу. Я за пять лет революции, можно сказать, на опыте проследил: ежели питание, скажем, посредственное, неважное питание, то никакой любви не существует, будь хоть вы знакомы с наивеликолепнейшей дамой, а чуть питание улучшается, чуть, скажем, гуся с кашей съел, поросенка вкусил — и пожалуйста — поэзии хочется, звуков — любовное томление, одним словом.

Ну а что касается дамы той, что давеча я на Морской встретил, так любви, конечно, к ней я не имею, но она мне нравится очень, очень.

Завтра жду с нетерпением. Питался хорошо. Съел у Палкина три порции гуся.

11 декабря

Есть... Пришла... Цимес! Ландыш китайский! Сон, совершеннейший сон! Только на Морскую вышел — идет... Чего уж я ей сказал, не помню. «Здравствуйте», кажется, сказал. А она улыбнулась сразу, чудно, чудно улыбнулась. Я про театр ей намекаю, а она не хочет. Ландыш испанский, мимоза! Не хочет! Это из бескорыстия она не хочет. В расход ей, видите ли, неловко меня вгонять. Ах, я всегда мечтал встретить бескорыстную особу!..

Пишу это, покуда она, гуленька, в порядок себя приводит, галошки снимает, прическу того-этого.

Ну снимай, снимай, я люблю, чтоб это все было, того-этого, приятно, чтоб грация во всем была. Другому это все как-нибудь, а я человек все-таки культурный, мне обстановка нужна, поэзия.

Вот сбоку на нее смотрю — королева Изабелла прямо-таки, мадонна. Варька Двуколкина в подметки ей не годится. Варька Двуколкина перед ней дрянь, сопля, пуговица. Ей только корыстные цели подавай... А тут... Даже страшно становится, чего это она свой чудный взор на меня обратила. Красавица! Грации-то сколько, грации! Ей-богу, княгиня это какая-нибудь бывшая... Может, обнимешь ее, а она в слезы.

— Нахал, скажет, сукин сын. Я не для этого, скажет, пришла. Я, скажет, сукин сын, какая-нибудь там княгиня Трумчинчинская бывшая...

Ах, шут меня раздери совсем... Ей-богу, княгиня это... Чш... кончаю писать. Идет... Боюсь, чего и говорить с ней буду, не знаю. Я пять лет с порядочными дамами не разговаривал.

12 декабря

Все пропало. Дурак я. Стелька сапожная! Утром она встает, уходит и пять рублей, говорит.

— Как? Что?

— Да, говорит, не меньше.

Я к столу. Деньги вынул, дал ей и только после вспомнил — больше дал, шесть... две по тройке... На лестнице ее, гадину, догнал.

— Там, говорю, шесть.

Смеется.

— Ну, говорит, у меня кстати и сдачи нет. Пусть это на второй раз останется.

Дурак я, дурак. Курица гнусная, тетерька. Орлом полететь захотел. Орлом! Смешно даже. Издеваться над собой хочется. Орлом! Про любовь начал ей говорить, спрашивать начал.

— Как это, говорю, вы так сразу полюбили меня и обратили свое полное внимание на меня?

А она:

— Так, говорит, и полюбила. Мужчина, вижу, без угрей, без прыщей, ровный мужчина.

Ровный! Стелька я сапожная! Дрян! И как это я ничего не заметил?

Хм... А если б и заметил? Да если б и заметил, так все равно... Иные, конечно, и орлом летают, а тут...

Да. Подлая штука жизнь. Никогда я ею особенно не увлекался. Подлость в ней какая-то есть. Особенная какая-то подлость! Заметьте: если падает на пол хлеб, намазанный маслом, так он непременно падает маслом... Особая, гнусная подлость.

Тьфу, какая подлость!

СЕНАТОР

Из Гусина я выехал утром... Извозчик мне попался необыкновенный — куда как бойчее своей лошади.

Лошаденка трусила особенной деревенской трухлявой рысью с остановками, тогда как извозчик ни на одну секунду не засиживался на месте: он привставал, гикал, свистел в пальцы, бил кнутовищем свою гнедую кобылку, стараясь попасть ей по бокам и по животу, иногда даже выпрыгивал из саней и, по неизвестной причине, бежал ря-

дом с кобылкой, ударяя ее время от времени то ладонью, то ногой по брюху.

Я не думаю, что делал это он от холода. Мороз, помню, был незначительный, да и ехали мы недолго, с полчаса, что ли. Думаю, что делал это он по необыкновенной энергичности своего характера.

Когда мы подъезжали к какой-то деревушке, извозчик мой обернулся и, кивнув головой, сказал:

— Лаптенки это...

Потом засмеялся.

— Чего смеешься? — спросил я.

Он засмеялся еще пуще. Затем высморкался, ловко надавив нос одним пальцем, и сказал:

— Сенатор... Сенатор тут в Лаптенках существует...

— Сенатор? Какой сенатор? — удивился я.

— Обыкновенно какой... сенатор... Генерал, значит, бывший...

— Да зачем же он тут живет? — спросил я.

— А живет... — сказал извозчик. — Людей даже пугается — вот и живет тут. С перепугу, то есть, живет. После революции.

— А чего ж он тут делает?

Извозчик мой рассмеялся и ничего не ответил. Когда мы въехали в Лаптенки, он снова обернулся ко мне и сказал:

— Заехать, что ли? Погреться нужно бы...

— Не стоит, — сказал я. — Приедем скоро.

Мы двинулись дальше.

— Гражданин, — сказал извозчик просительно, — заедем... Мне на сенатора посмотреть охота.

Я рассмеялся.

— Ну, ладно. Показывай своего сенатора.

Мы остановились у черной, плохонькой избы, сильно приплюснутой толстенной соломенной крышей. Извозчик мой в одну секунду выскочил из саней и открыл ворота, не спросив ничего у хозяев. Сани наши въехали во двор.

Я вошел в избу.

Может, оттого, что я давно не был в деревне, изба эта показалась мне необыкновенно грязной. Маленькое оконце, сплошь заляпанное тряпками и бумагой, едва пропускало свет в избу. В избе баба стирала белье в лоханке. Рядом с лоханкой сидел старичок довольно дряхлого вида. Он внимательно, с интересом смотрел, как мыльная пена, вылетая из лоханки, ударялась в стену кусками и со стены сползала медленно, оставляя на ней мокрые полосы.

В избе было душно. Несмотря на это, старичок одет был крепко: в валенках, нагольном тулупе, даже в огромной меховой шапке.

Сам старичок был малюсенький — ноги его, свешиваясь с лавки, не доставали земли. Сидел он неподвижно.

Я поздоровался и просил побыть в избе минут пять — погреться.

— Грейтесь! — коротко сказала баба, едва оборачиваясь в мою сторону.

Старичок промолчал. Он, впрочем, сурово взглянул на меня, но после снова принялся следить за мыльной пеной. Я недоумевал.

«Уж не этот ли старикан — сенатор?» — думал я. В это время в избу вошел мой извозчик. Он поздоровался с бабой и подошел к старику.

— Господину сенатору с кисточкой, — сказал он, протягивая ему руку.

Старичок подал нехотя свою сухонькую ручку. Извозчик засмеялся, подмигнул мне и сказал тихо:

— Это и есть...

Должно быть, услышал это старичок. Он заерзал на скамье и заговорил вдруг каким-то странным мужицким говорком, сильно при этом окая:

— Вре-е... Вы не слушайте ево, господин... Меня тут все дразнят... сенатором... А чего это за слово — мне неизвестно. Ей-бо...

Баба бросила вдруг стирать, утерла лицо передником и рассмеялась. Извозчик мой засмеялся тоже.

Я уж подумал было, что это и в самом деле так: дразнят старика, однако меня смутила его странная, как бы нарочная мужицкая речь. Мужики здесь так не говорили. Да и подозрительно было оканье и сухие, белые, не мужицкие руки.

— Послушайте, — сказал я, улыбаясь, — а я ведь вас где-то видел. Кажется, в Питере...

Старик необыкновенно смутился, заерзал на лавке, но сказал спокойно:

— В Питере?... Нетути, не был я в Питере...

Извозчик ударил себя по ляжкам, присел и захохотал громко, захлебываясь. И не переставая смеяться, он все время подталкивал меня в бок, говоря:

— Ой, шельма! Ой, умереть сейчас, шельма какая! Ой, врет как...

Баба смеялась тихо, беззвучно почти — я видел, как от смеха дрожали ее груди.

Старик смотрел на извозчика с бешенством, но молчал. Я присел рядом со стариком.

— Бросьте! — сказал я ему. — Ну чего вы, право... Я человек частный, по своему делу еду... К чему вы это передо мной-то? Да и что вы боитесь? Кто вас тронет? Человек вы старый, безобидный... Нечего вам бояться.

Тут произошла удивительная перемена со старичком. Он поднялся с лавки, скинул с себя шапку, побледнел. Его лицо перекошилось какой-то гримасой, губы сжались, профиль стал острый, птичий, с неприятно длинным носом. Старик казался ужасно взволнованным.

— Тек-с, — сказал он совершенно иным тоном, — полагаете, что никто не тронет? Никто?

— Да, конечно, никто.

Старичок подошел ко мне ближе. В своем волнении он окончательно потерял все мужицкое. Он даже стал говорить по-иному — не употребляя мужицких слов. Мне было ясно: передо мной стоял интеллигентный человек.

— Это меня-то никто не тронет? Меня? — сказал он почти шепотом. — Да меня, может, по всей России ищут.

Старик надменно посмотрел на меня.

Мне стало вдруг неловко перед ним. В самом деле: к чему я с ним заговорил об этом? Ему, видимо, нравилась его роль — тайного, опасного человека, которого разыскивает правительство. Сейчас этот тихий старичок казался почти безумным.

— Меня? — шипел старик. — Меня... (тут он назвал совершенно мне не известную фамилию).

— Простите, — пробормотал я, — я не хотел вас обидеть... И, конечно, если вас разыскивают...

Я поднялся с лавки, попрощался и хотел уйти.

— Позвольте! — сказал мне старик. — Что про меня в газетах пишут?

— В газетах? Ничего.

— Не может быть, — закричал старичок. — Вы, должно быть, газет не читаете.

— Ах да, позвольте, — сказал я, — что-то такое писали...

Старичок взглянул на меня, потом на хозяйку, на моего извозчика и, довольный, рассмеялся.

— Воображаю, — протянул он, — какую галиматью пишут. Что ж это, разоблачения, должно быть?

— Разоблачения, — сказал я.

— Воображаю...

Я вышел во двор. Когда мы выезжали со двора, старичок бросился к саням, снял шляпу и сказал:

— Прощайте, господин. Счастливый путь-дороженька. А про сенатора — врут... Ей-бо, врут... Дразнят старика...

Он еще что-то бормотал, я не расслышал — сани наши были уже на улице.

Извозчик мой тихонько смеялся.

— А что, — спросил я его, — как же он тут живет? У кого? Кто его держит?

— Сын... Сын его держит, — сказал извозчик, давась от смеха.

— Как сын... какой сын?

— Обыкновенно какой... Родной сын. Мужик. Крестьянин. Я не здешний, не знаю сам... Люди говорят... На воспитанье, будто, сенатор сына сюда отдал. К бабке Марье... Будто он в прежнее время его от актриски одной прижил... Неизвестно это нам... Мы не здешние...

— А ведь старик, пожалуй что, безумный, — сказал я.

— Чего-с?

— Сумасшедший, говорю, старик-то. Вряд ли его кто разыскивает.

— Зачем сумасшедший? — сказал извозчик. — Не сумасшедший он. Нет. Хитровой только старик. Хитрит, сукин сын. Мы, бывало, к ним соберемся и давай крыть старика: какой есть такой? документы? объясняй из прежнего. Затрясется старик, заплачет. Ну да нам что... Пушай живет... Может, ему год жизни осталось. Нам что...

Извозчик хлестнул кнутовищем, потом выскочил из саней и побежал рядом со своей кобылкой.

ВОР

Был Васька Тяпкин по профессии карманник. В трамваях все больше орудовал.

А только не завидуйте ему, читатель, — ничего не стоящая это профессия. В один карман влезешь — дерьмо — зажигалка, может быть; в другой влезешь — опять дерьмо — платок или, например, папирос десяток или, скажем, еще того чище — счет за электрическую энергию.

Так, баловство, а не профессия.

А которые поценнее вещи — бумажник там или часы, что ли — лудки.

Неизвестно, где нынче содержат пассажиры это.

А и подлый же до чего народ пошел! Гляди в оба, как бы из твоего кармана чего не стырили. И стырят. Очень просто. На кондукторшину сумку, скажем, засмотрелся — и баста — стырили уж! Елки-палки...

Ну а что касается ценностей, то не иначе, как пассажиры по подлости своей на груди их носят или на животе, что ли. Места эти, между прочим, нежные, шекотки нипочем не выносят. Пальцем едва колупнешь — крики: ограбили, дескать. Смотреть противно.

Эх, ничего не стоящая профессия!

Оптик один полупочтенный из налетчиков посоветовал Ваське Тяпкину от чистого сердца переменить профессию. Переменить, то есть, специальность.

— Время, — говорит, — нынче летнее. Поезжай-ка, говорит, братишка, в дачные окрестности. Облюбуй какую-нибудь дачу и крой после. И, между прочим, воздухом дыши. Ваш брат тоже туберкулезом захворать может. Очень просто.

«Это верно, — подумал Васька, — работаешь ровно слон, а ни тебе спасибо, ни тебе благодарности. Поеду-ка я и в самом деле в дачные окрестности. Воздух все-таки, и работа иная. Да и запарился я — туберкулезом захворать можно».

Так Васька и сделал. Поехал в Парголово.

Походил по шоссе, походил по улицам — воздух, действительно, великолепный, дачный, слов нет, а разжиться нечем.

И жрать к тому же на воздухе приспичило, только давай, давай — будто дыра в пузе — съел, а еще просится.

Стал Васька дачу облюбовывать. Видит, стоит одна дача жилия и на взгляд превосходная. На заборе заявление: медик Корюшкин, по женским болезням.

«Ежели медик, — думает Васька, — тем лучше. Медики эти всегда серебро в буфете держат».

На сегодня залег Васька в кусты, что у медика в саду за клумбами, стал следить, что вокруг делается. А делается: нянька в сад с пятилетним буржуйчиком гулять вышла. Нянька гуляет на припеке, а парнишка по саду мечется, в игры играет. Игр этих у него до дьявола: куклы, маховички разные заводные, паровозики... А одна игра совсем любопытная — волчок, что ли. Заводом заведешь его — гудит это ужасно как, и сам по земле, что карусель, крутится.

И до того Ваську эта игра заинтриговала, что едва он из кустов не выпал. Сдержался только.

«Неполным заводом, — думает, — они, идола, крутят. Ежели бы полным заводом, — вот понес бы шибко».

А нянька распарилась на припеке, лень ей, видите ли, крутить.

— Крути, крути сполна, — шепчет про себя Васька. — Крути, дура такая... Сук тебе в нос...

Ушла нянька с парнишкой. Вышел и Васька из кустов. Пошел во двор, посмотрел, что и как. Каждую мелочь знать все-таки нужно: где труба, а где, вообще, и кухня. После в кухню заявился. Услуги свои предложил. Отказали.

— Катись, — говорят, — сопрешь еще что. По роже видно.

А ведь верно: угадали, елки-палки, — спер Васька топор на обратном ходу. Ну, да не говори под руку...

Назавтра Васька опять в кусты. Лежит, соображает, как начать.

«Лезть надо, — думает, — в окно. В столовую. Ежели окно на сегодня закрыто — не беда. Обожду. Завтра, может быть, забудут закрыть. Надо мной не каплет».

Всякую ночь подходил Васька к дому, трогал окно — не поддастся ли. Через неделю поддалось — закрыть забыли.

Скинул Васька пиджачок для легкости, успокоил в животе бурчанье и полез.

«Налево, — думает, — стол, направо буфет. Серебро в буфете».

Влез Васька в комнату — темно. Ночь хотя и светлая, а в чужих апартаментах трудно разобраться. Пошарил Васька руками — буфет, что ли. Открыл ящик. Пустяки в ящике — дерьмо — игрушки детские. Тыфу ты, бес. Действительно: куклы, маховички...

«Эх, елки-палки! — подумал Васька. — Не туда, честное слово, залез. Не иначе как в детскую комнату я залез. Елки-палки».

Руки опустил даже Васька. Хотел было в соседнюю комнату идти — страшно. С расположения сбился. К медику еще влезешь — ланцетом по привычке чикнет.

«Эх, — думает, — елки-палки. Соберу хоть игрушки. Игрушки, между прочим, тоже денег стоят».

Стал Васька выкладывать из ящика игрушки — волчок в руки попал. Тот самый, что в саду пускали давеча.

Улыбнулся Васька.

«Тот самый, — думает, — пушу, ей-богу, после. Обязательно. Заведу на полный ход. А сейчас поторопиться нужно, товарищи».

Стал Васька торопиться, рассыпал что-то, зазвенело на полу.

Только смотрит — на кровати парнишка зашевелился. Встал. Пошел к нему босенький.

Оробел сначала Васька.

— Спи! — сказал. — Спи, елки-палки.

— Не трогай! — закричал мальчик. — Не трогай игрушки.

«Ах, ты, — думает Васька, — засыпаться так можно». А мальчик орет, плакать начинает.

— Спи, шибздик! — сказал Васька. — Раздавлю, как вошку.

— Не трогай. Мои игрушки...

— Врешь, — сказал Васька, пихая в мешок игрушки, — были это, точно, твои, а теперь ищи-свищи...

— Чего?

— Ищи, говорю, свищи.

Выкинул Васька мешок за окно и сам прыгнул. Да неловко прыгнул — грудь зашиб.

«Эх, — подумал, — елки-палки, так и туберкулезом захворать можно».

Присел Васька на клумбу, потер грудь, отдышался.

«Бежать, — думает, — скорее нужно».

Вскинул мешок на плечи, хотел бежать, про волчок вдруг вспомнил.

— Стоп! — сказал Васька. — Где волчок? Не забыл ли я волчок? Елки-палки.

Пощупал мешок — здесь. Вынул Васька волчок. Пустить охота, не терпится.

«А ну, — думает, — попробую, заведу».

Закрутил он на полный ход, пустил. Гудит волчок, качается.

Засмеялся Васька. Прилег наземь от смеха.

«Вот, — думает, — когда полным ходом дует. Елки-палки».

Еще не докрутился волчок, как закричали вдруг в доме:

— Вор... Держи вора!

Вскочил Васька, хотел бежать — бряк по голове кто-то. Да не шибко ударили. Неопытно. Рухнул хотя Васька на землю, но вскочил после.

«Палкой, — думает, — ударили, что ли. Палкой, наверное, или соляной веревкой».

Побежал Васька, закрывши рукой голову.

Пробежал версту, вспомнил: пиджак забыл.

Чуть не заплакал с досады Васька. Присел в канаву.

«Эх, — думает, — елки-палки. Переменить профессию надо. Ничего не стоящая профессия, хуже первой. Последнего, скажем, пиджачка лишился. Поступлю-ка я в налетчики. Елки-палки».

И пошел Васька в город.

СОБАЧИЙ СЛУЧАЙ

Жил такой Вася Семечкин. Безработный. Уволили его по сокращению штатов, а он и в ус не дует.

— Пушай, — говорит, — буду-ка я человеком свободной профессии.

Стал он думать, чем ему промышлять, дровами или чем другим. Да случай вышел.

Проживал в четвертом номере всемирно-ученый старичок. И занимался этот старичок разнообразными опытами, все больше над собаками. То пришьет им какую-либо кишку, то сыворотку привьет, то прививку холерную, а то и просто хвост отрежет и интересуется: может ли животное без хвоста жить. Одним словом — опыты.

Но однажды встретил всемирно-ученый старичок Ваську во дворе и говорит ему:

— Нет ли у вас какой-нибудь собачки для ученых опытов? Я, — говорит, — за каждую собачку плачу трешку.

Обрадовался Васька. Сразу смекнул.

— Есть, говорит, — вы угадали. Это, — говорит, — даже моя специальность доставать опытных собачек. Пожалуйста. Завсегда ко мне обращайтесь.

Ударили они по рукам и разошлись.

Первая собачка пропала у управдома. Ужасно тогда грустил управдом. Накинул даже на квартиры и хотел на воду накинуть, да были переборы — поперли его.

Вторая собачка исчезла в седьмом номере. И такая это была паршивенькая собачка, болонка — глаз у ней красный, отвратительный, шерсть висячая. Омерзительная собачка. И кусачая к тому же. У Васьки до сих пор шрам на руке.

Третью собачку Васька поймал на улице. А там пошло и пошло.

Только раз всемирно-ученый старичок сказал Ваське:

— Что ты, — говорит, — голубчик, мне все паршивеньких собак достаешь? Нынче я опыт произвожу над предстательной железой, и нужна мне для этого собака особо крепкая, фигурная, чтоб хвост у ней был дыбом, чтоб она, стерва, бодрилась бы под ножом.

И вот пошел Васька с утра пораньше такую собаку искать. Прошел четыре квартала — нету. По пути только маленькую сучку в мешок пихнул.

Идет по Карповке, смотрит: стоит у тумбы этакая значительная собачища и воздух нюхает.

Обрадовался Васька. И верно: особо-фигурная собака, бока гладкие, хвост трубой и все время бодрится.

Подошел к ней Васька, хлеб сует.

— Собачка, собачка...

А она урчит и хвостом отмахивается. Начал Васька мешок развязывать, а она за руку его — тяп. И держит.

Васька рвется — не пушает. Народ стал собираться, публика. Вдруг кто-то и говорит:

— Братцы, да это уголовная собака Трефка.

Как услышал это Васька, упал с испугу. Мешок выронил. А из мешка сучка выпала.

— Ага! — закричал народ. — Да это, братцы, собачник. Хватай его!

Схватили Ваську и повели в милицию. А после судили его. Оправдали все-таки. Во-первых — безработный, с голоду. Во-вторых — для науки. — Впредь, — сказали, — не делай этого. Стал с тех пор Васька дровами промышлять.

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА

Некоторые думают, что управдомом быть — пустое дело. Некоторые товарищи предполагают, что должность управдома это вроде бы делопроизводителя по письменной части: деньги получить, удостоверения гражданам выдать, расценку произвести.

Ах, какие это пустяки! Должность управдома — серьезнейшая, государственная должность. Она труднее, нежели должность директора Пищевого Треста.

Мало того, что управдом должен быть человек башковатый, он должен быть философом, психологом, проницателем. Каждого своего квартиранта управдом вот как должен знать! Насквозь должен знать, все кишки его видеть. А то как же иначе? В 43 квартире — безработный. А безработный этот, сук ему в нос, ежедневно в пивные ходит, в кабаре. Ночью на машинах приезжает, дворнику Семену пятерки дает. Не жалко, конечно, пускай дает, но зато управдом Конючкин и плату на него возвел соответствующую.

Ну да с мужчинами это просто, а вот с бабами какво? Скажем, женщина... А шут ее разберет, какая она есть? Чулочки там, ботинки, шляпки — а может она веселящаяся? А если она веселящаяся, то и квартира ее подозрительная, о которой по декрету донести нужно.

Тоже вот 48 квартира. Подозрительно. Две девицы проживают — Манюшка Челькис и еще одна гражданка с эстонской фамилией Эпитафия. Может, они и есть веселящиеся. Управдом Конючкин давно к ним присматривается — не понять только: будто и подозрительные, а будто и нет.

С ума сойти управдому Конючкину! Суетливая до чего должность!

И добро бы еще семейная жизнь была хороша. Какое там! Семейная жизнь у управдома Конючкина ничего не стоящая — раздоры, распри, полное несходство характеров.

Тоже вот — блины.

Управдом Конючкин любит блин поджаренный, с хрустом, причем с соленьким, а жена управдома Марья Петровна блин обожает рыхлый, бледный, да еще, противно сказать, со сметками, тьфу на них! От этого тоже распри и семейные неурядицы.

В среду на масленой управдом Конючкин до того дошел, что и кушать не захотел. Сидит за столом и на блины не смотрит — противно. Марья Петровна так супруга своего и точит: и зачем не ест, и зачем выражение лица имеет грустное, и зачем, вообще, молодость ее заел.

Управдом Конючкин даже сплюнул со злости и из квартиры вышел.

И вышел он на лестницу, на ступеньку сел. И сел он по случайности напротив квартиры 48. Только слышит вдруг пенье, шум, разгул вообще.

«Подозрительная, — думает, — квартира. Хорошо бы девиц этих с поличными накрыть, с уликами».

Постучал Конючкин в дверь. Девица Эпитафия открыла.

— Тово-с, — сказал управдом, — разрешите канализацию и водопропод проверить.

— Пожалуйста, — сказала Эпитафия. — Да вы бы, гражданин Конючкин, за стол бы присели. Это вот — мои гости, это вот вино, а вот блины.

Взглянул управдом на блины и замер. Никогда он таких блинов не видел. Чудные, великолепные блины и с большим хрустом.

Растерялся управдом, сел, скушал парочку блинов.

— Эх, думает, не по должности поступаю. Ну да ладно, по крайней мере узнаю точно — веселящиеся девицы или нет?

Съел он еще и еще, и выпил после, и к 12 часам на коленях у него сидела Манька Челькис и пела «Марусю». Управдом ей подпевал хриплым голосом.

Ночью он спал на диване. Один или с кем — не помнит.

Утром проснулся хмурый, подумал: донесу, квартира, точно, подозрительная.

И стал одеваться.

А когда он хотел уходить, Манька ему сказала:

— Ежели ты задумал донести или что — берегись. Мне теперь все равно — разглашу, ославлю на весь дом и должности лишу. А пока пиши расписку: деньги, мол, за квартиру получил полностью и вперед за три месяца.

— Позвольте, — сказал управдом, — за три месяца это выходит по свободной профессии... Позвольте, это же много выходит... двести выходит. Позвольте хотя за два месяца написать? За что же?

— Пиши за три! — строго сказала Манька. И управдом написал.
Ах, до чего трудная должность управдома! В особенности на масленой.

СИЛА ТАЛАНТА

Успех актрисы Кузькиной был потрясающий. Публика была ногами, рычала. Поклонники актрисы кидали на сцену цветы, кричали:

— Кузькина! Ку-узькина!

Один из наиболее юрких поклонников пытался проникнуть на сцену через оркестр, но был остановлен публикой. Тогда он бросился в боковую дверь с надписью: «Посторонним воспрещается» — и скрылся.

Актриса Кузькина сидела в артистической уборной и думала.

Ах, именно о таком успехе она и мечтала. Потрясать сердца. Облагораживать людей своим талантом...

Но тут в дверь постучали.

— Ах, — сказала актриса, — войдите.

В комнату стремительно вошел человек. Это был юркий поклонник. Он до того был боек в своих движениях, что актриса не могла даже его лица рассмотреть.

Он бросился перед ней на колени и, промычав: «Влюблен... потрясен», схватил брошенный на пол сапог и стал покрывать его поцелуями.

— Позвольте, — сказала актриса, — это не мой сапог, это комической старухи... Вот мой.

Поклонник с новой яростью схватил актрисин сапог.

— Второй... — хрипел поклонник, ползая на коленях, — где второй?

«Господи! — подумала актриса. — Как он в меня влюблен!» И, подавая ему сапог, робко сказала:

— Вот второй... А вон там мой лиф...

Поклонник схватил сапоги и лиф и торжественно прижал их к груди. Актриса Кузькина откинулась в кресле.

Господи! Что можно сделать силой таланта! Довести до невменяемости... Успех! Какой успех! Поклонники врываются к ней, целуют ее обувь. Счастье! Слава!

Потрясенная своими мыслями, она закрыла даже глаза.

— Кузькина! — громко закричал режиссер. — Выход!

Актриса очнулась. Поклонника с сапогами уже не было.

После выяснилось: кроме сапог и лифа, из уборной исчезла коробка с гримом, парик и — что всего ужасней — один сапог комической старухи: другого поклонник не нашел. Другой лежал под креслом.

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Говорят, что слоны и обезьяны очень умные животные. Но и другие животные тоже не дураки. Вот, посмотрите, каких умных животных я видел.

1. Умный гусь

Один гусь гулял во дворе и нашел сухую корку хлеба.

Вот гусь стал клювом долбить эту корку, чтоб ее разломать и съесть. Но корка была очень сухая. И гусь никак не мог ее разломать. А сразу проглотить всю корку гусь не решался, потому что это, наверно, бесполезно было для гусяного здоровья.

Тогда я хотел разломать эту корку, чтоб гусю легче было кушать. Но гусь не позволил мне дотронуться до своей корки. Наверно, он подумал, что я сам хочу ее съесть.

Тогда я отошел в сторонку и смотрю, что будет дальше.

Вдруг гусь берет клювом эту корку и идет к луже.

Он кладет эту корку в лужу. Корка делается в воде мягкая. И тогда гусь с удовольствием ее кушает.

Это был умный гусь. Но то, что он не дал мне разломать корку, показывает, что он был не такой уж особенно умный. Не то чтобы дурак, но немножко он все-таки отставал в своем умственном развитии.

2. Умная кура

Одна кура гуляла во дворе с цыплятами. У нее девять маленьких цыплят.

Вдруг откуда-то прибежала лохматая собака.

Эта собака подкралась к цыплятам и схватила одного.

Тут все другие цыплята испугались и бросились врассыпную.

Кура тоже сначала очень сильно испугалась и побежала. Но потом смотрит — какой скандал: собака держит в зубах ее маленького цыпленка. И наверно, мечтает его съесть.

Тогда кура смело подбежала к собаке. Она немножко подскочила и больно клюнула собаку в самый глаз. Собака от удивления даже рот раскрыла. И цыпленка выпустила. И тот сразу поскорей убежал. А собака посмотрела, кто ее клюнул в глаз. И, увидя куру, рассердилась и бросилась на нее. Но тут подбежал хозяин, схватил собаку за ошейник и увел ее с собой.

А кура как ни в чем не бывало собрала всех своих цыплят, пересчитала их и снова стала прогуливаться по двору.

Это была очень умная кура.

3. Глупый вор и умный поросенок

На даче у нашего хозяина был поросенок. И хозяин на ночь закрывал этого поросенка в сарай, чтоб его никто не украл.

Но один вор захотел все-таки украсть эту свинку.

Он ночью сломал замок и пробрался в сарай.

А поросята всегда очень сильно визжат, когда их берут в руки. Поэтому вор захватил с собой одеяло.

И как только поросенок хотел завизжать, вор быстро завернул его в одеяло и тихонько вышел с ним из сарая.

Вот поросенок визжит и барахтается в одеяле. Но его крики хозяева не слышат, потому что это было толстое одеяло. И вор очень крепко завернул поросенка.

Вдруг вор чувствует, что поросенок не двигается больше в одеяле. И он кричать перестал. И лежит без всякого движения.

Вор думает:

«Может быть, я очень сильно закрутил его одеялом. И, может быть, бедный поросенок там задохся».

Вор развернул поскорей одеяло, чтоб посмотреть, что с поросенком, а поросенок как выпрыгнет у него из рук, как завизжит, как бросится в сторону.

Тут хозяева прибежали. Схватили вора.

Вор говорит:

— Ах, какая свинья этот хитрый поросенок. Наверное, он нарочно притворился мертвым, чтоб я его выпустил. Или, может быть, он от страха упал в обморок.

Хозяин говорит вору:

— Нет, мой поросенок в обморок не падал, а это он нарочно притворился мертвым, чтобы вы развязали одеяло. Это очень умный поросенок, благодаря которому мы поймали вора.

4. Очень умная лошадь

Кроме гуся, куры и поросенка, я видел еще очень много умных животных. И об этом я потом вам расскажу.

А пока надо сказать несколько слов об умных лошадях.

Собаки едят вареное мясо. Кошки пьют молоко и едят птичек. Коровы кушают траву. Быки тоже жрут траву и бодают людей. Тигры, эти нахальные животные, питаются сырым мясом. Обезьяны кушают орешки и яблоки. Куры клюют крошки и разный мусор.

А скажите, пожалуйста, что кушает лошадь?

Лошадь кушает такую полезную еду, которую дети кушают.

Лошади кушают овес. А овес — это и есть овсянка и геркулес. А овсянку и геркулес дети кушают и благодаря этому бывают сильные, здоровые и смелые.

Нет, лошади не дураки, что они кушают овес.

Лошади очень умные животные, потому что они едят такое полезное детское блюдо. Вдобавок лошади любят сахар, это тоже показывает, что они не дураки.

5. Умная птичка

Один мальчик гулял в лесу и нашел гнездышко. А в гнездышке сидели малюсенькие голенькие птенчики. И они пищали. Они, наверно, ждали, когда их мамаша прилетит и покормит их червячками и мушками.

Вот мальчик обрадовался, что нашел таких славных птенчиков, и хотел взять одного, чтоб принести его домой.

Только он протянул к птенчикам свою руку, как вдруг с дерева как камень упала к его ногам какая-то пернатая птичка.

Она упала и лежит в траве.

Мальчик хотел схватить эту птичку, но она немножко попрыгала, попрыгала по земле и отбежала в сторону.

Тогда мальчик побежал за ней. «Наверно, — думает, — эта птичка ушибла себе крыло, и поэтому она летать не может».

Только мальчик подошел к этой птичке, а она снова прыг, прыг по земле и снова немножко отбежала.

Мальчик опять за ней. Птичка немножко подлетела и снова села в траву.

Тогда мальчик снял свою шапку и хотел этой шапкой накрыть птичку.

Только он подбежал к ней, а она вдруг вспорхнула и улетела.

Мальчик прямо рассердился на эту птичку. И пошел скорей назад, чтобы взять себе хоть одного птенчика.

И вдруг мальчик видит, что он потерял то место, где было гнездышко, и никак не может его найти.

Тогда мальчик понял, что эта птичка нарочно упала с дерева и нарочно бегала по земле, чтоб подальше увести мальчика от своего гнездышка.

Так мальчик и не нашел птенчиков.

Он собрал немножко лесной земляники, покушал ее и пошел домой.

6. Умная собака

У меня была большая собака. Ее звали Джим.

Это была очень дорогая собака. Она стоила триста рублей.

А летом, когда я жил на даче, какие-то воры украли у меня эту собаку. Они приманили ее мясом и увели ее с собой.

Вот я искал, искал эту собаку и нигде ее не нашел.

И вот я однажды приехал в город на свою городскую квартиру. И сижу там, горюю, что у меня пропала такая дивная собака.

Вдруг слышу, кто-то на лестнице позвонил.

Я открываю дверь. И можете себе представить — передо мной на площадке сидит моя собака.

И какой-то верхний жилец мне говорит:

— Ах, какая у вас умная собака — она сама сейчас позвонила. Она мордой ткнулась в электрический звонок и позвонила, чтоб вы ей открыли дверь.

Это очень жаль, что собаки не умеют говорить. А то бы она рассказала, кто ее украл и как она попала в город. Наверно воры привезли ее на поезде в Ленинград и там хотели ее продать. А она от них убежала и, наверно, долго бегала по улицам, пока не нашла свой знакомый дом, где она жила зимой.

Тут она поднялась по лестнице в четвертый этаж. Полежала у наших дверей. Потом видит, что ей никто не открывает, взяла и позвонила.

Ах, я очень обрадовался, что нашлась моя собака, поцеловал ее и купил ей большой кусок мяса.

7. Сравнительно умная кошка

Одна хозяйка уехала по делам и забыла, что у нее на кухне осталась кошка.

А у кошки были три котенка, которых надо было все время кормить.

Вот наша кошка проголодалась и стала искать, что бы ей такое покусать.

А на кухне никакой еды не было.

Тогда кошка вышла в коридор. Но и в коридоре она тоже ничего хорошего не нашла.

Тогда кошка подошла к одной комнате и чувствует через дверь, что там чем-то приятным пахнет. И вот кошка лапкой стала открывать эту дверь.

А в этой комнате жила одна тетка, которая ужасно боялась воров.

И вот сидит эта тетка у окна, кушает пирожки и дрожит от страха. И вдруг видит, что дверь в ее комнату тихонько открывается.

Тетка, испугавшись, говорит:

— Ой, кто там?

Но никто не отвечает.

Тетка подумала, что это воры, открыла окно и выпрыгнула во двор. И хорошо, что она, дура, жила в первом этаже, а то бы небось она сломала себе ногу или что-нибудь. А тут она только немножко ушиблась и расквасила себе нос.

Вот тетка побежала звать дворника, а наша кошка тем временем открыла лапкой дверь, нашла на окне четыре пирожка, слопала их и снова пошла на кухню к своим котяткам.

Вот приходит дворник с теткой. И видит — никого в квартире нет.

Дворник рассердился на тетку, — зачем она его зря позвала, выругал ее и ушел.

А тетка села у окна и снова хотела заняться пирожками. И вдруг видит: никаких пирожков нет.

Тетка подумала, что это она сама их съела и от страха позабыла. И тогда она голодная легла спать.

А утром приехала хозяйка и стала аккуратно кормить кошку.

8. Очень умные обезьянки

Очень интересный случай был в зоологическом саду.

Один человек стал дразнить обезьянок, которые сидели в клетке.

Он нарочно вытащил из кармана конфетку и протянул ее одной обезьянке. Та хотела взять, а человек ей не дал и снова спрятал конфетку.

Потом он опять протянул конфетку и опять не дал. Да еще вдобавок довольно сильно ударил обезьянку по лапке.

Вот обезьянка рассердилась — зачем ее ударили. Она высунула лапку из клетки и в один момент схватила шапку с головы этого человека.

И начала эту шапку мять, топтать и зубами рвать.

Вот человек стал кричать и звать сторожа. А в этот момент другая обезьянка схватила человека сзади за пиджак и не выпускает.

Тут человек поднял ужасный крик. Во-первых, он испугался, во-вторых, ему жалко шапку, а в-третьих, он боялся, что обезьяна разорвет его пиджак. А в-четвертых, ему надо было идти обедать, а тут его не пускают.

Вот он стал кричать, а третья обезьянка протянула свою мохнатую лапку из клетки и стала хватать его за волосы и за нос.

Тут человек до того испугался, что прямо завизжал от страха.

Прибежал сторож.

Сторож говорит:

— Скорей снимите с себя пиджак и отбегите в сторону, а то обезьянки поцарапают вам лицо или нос оторвут.

Вот человек расстегнул пиджак и моментально выскочил из него.

А обезьянка, которая держала его сзади, втянула пиджак в клетку и стала его рвать зубами. Сторож хочет от нее отобрать этот пиджак,

а она не отдает. Но потом она нашла конфеты в кармане и стала их кушать.

Тут другие обезьянки, увидав конфеты, бросились к ним и тоже стали кушать.

Наконец сторож палкой вытащил из клетки ужасно рваную шапку и порванный пиджак и подал их человеку.

Сторож сказал ему:

— Вы сами виноваты, зачем дразнили обезьян. Еще скажите спасибо, что они вам нос не оторвали. А то так без носа и пошли бы обедать!

Вот человек надел на себя рваный пиджак и рваную и грязную шапку и в таком смешном виде под общий хохот людей пошел домой обедать.

ХИТРЫЕ И УМНЫЕ

Вот какие бывают мышки

Погналась кошка за маленькой мышкой. А маленькая мышка, не будь дура, решила спрятаться в бутылку.

Кошка хотела тоже как-нибудь в бутылку войти, чтобы догнать мышку. Но не могла туда пролезть. Потому что мышка маленькая. А кошка — вон какая!

Кошка говорит мышке:

— А ну-ка, мышка, вылезай из бутылки — я тебя сейчас съем.

Мышка говорит:

— Нет, не вылезу, мне и тут хорошо.

Кошка говорит:

— А вот я тебя сейчас лапкой достану.

Просунула кошка свою лапку в бутылку, но достать мышку не могла.

Тогда кошка думает:

«Пойду принесу какой-нибудь крючок и достану мышку». Мышка говорит кошке:

— Уходи, уходи скорей, а то я тебя сейчас сама съем.

Вот кошка ушла. Вдруг приходят другие, большие мышки, ее родные старшие сестрички. Мышки-сестрички говорят:

— Ну как, не съела тебя кошка?

Мышка говорит:

— Нет, я сама ее чуть не съела.

Вот одна старшая мышка села на бутылку и просунула туда свой длинный хвостик. А маленькая мышка, не будь дура, и ухватилась за этот хвостик. И мышки стали ее тащить.

Вот мышки-сестрички вытащили маленькую мышку из бутылки и побежали в свою норку. Мышка говорит:

— Мышки-сестрички, бегите скорей, а то кошка опять идет.

Вдруг приходит кошка. И приносит с собой палку. На палке — веревка. На веревке — крючок. Хотела кошка достать мышку этим крючком. Подошла к бутылке. А мышки уж нет. Кошка удивилась и думает:

«Вот какие бывают хитрые мышки!»

Попалась, которая кусалась

Одна полевая мышка пошла прогуляться со своими ребятами. У нее трое детишек. Самую маленькую она держит за лапку. Другая мышка, побольше, цветы собирает. А третья, средняя, мышка обруч катит.

Вот гуляют эти мышки, дышат хорошим воздухом, поправляются. И вдруг видят: на дереве висит огромная змея. И такая страшная змея, что ужас. Глаза у нее горят и пасть раскрыта. Ах, сейчас она, наверно, кого-нибудь проглотит.

Маленьких мышек змея не захотела проглотить. Потому что это мелочь, а змея большая, и ей надо что-нибудь побольше скушать. И вот она на маму нацелилась. Она маму захотела слопать. Ах, милая мама, торопись! Беги поскорей от змеи!

Но мама не очень испугалась. Детишки ее действительно трусили и удрали. А мама очень уж не любила змею и хотела ей подстроить какую-нибудь гадость. И стала бегать вокруг дерева. Змея за мамой, а мама убегает. И тут змея сослепу просунула голову не туда, куда надо.

Вот змея просунула свою голову не в то отверстие и завязалась узлом. А тут мама нарочно ближе подбежала. Змея дернулась, чтобы маму поймать, и, конечно, узел завязался еще крепче. И до того змея завязалась и запуталась, что прямо ничего поделаться не может.

Тут мама увидела, что змея теперь не опасна, и крикнула детишек. Прибежали дети. И вот они все вчетвером без особого страха прошли мимо змеи, около самого ее носа. И маленькая мышка имела смелость крикнуть змее:

— Попалась, которая кусалась!

Ученая обезьянка

У одного клоуна была очень умная обезьянка. Она была очень развитая и хорошо соображала. И клоун научил ее считать. И мало того, что она считала, — она еще своим хвостиком умела изображать нужную цифру. Клоун говорит обезьяне:

— А ну-ка, маленький Жако, скажи мне, сколько тут видишь слонов.

И наша маленькая обезьянка, поглядев на одного слона, сгибает свой хвост так, что он делается похожим на единицу. Потом клоун говорит:

— Теперь ты видишь перед собой четырех маленьких цыплят, пеху и страуса. Подсчитай в своем уме, сколько тут их всего.

И каждый ребенок, взглянув на хвостик, может сразу понять, сколько тут птиц. Потом клоун говорит:

— Ну-ка, Жако, сосчитай, сколько тут видишь птиц и зверей.

И наша умненькая обезьянка показывает своим хвостиком то, что надо.

— А сколько тут мышей? — спрашивает клоун.

А мышей тут было так много, что наша обезьянка даже призадумалась. Потом сосчитала и видит, что ее хвостик что-то не сгибается для такой большой цифры. И тогда она зовет другую обезьянку.

Ах, кажется, они не соврали! Подсчитайте-ка ребята.

Наконец клоун говорит:

— Сосчитай, сколько в этой корзине яблок. Если правильно сосчитаешь, получишь в подарок все яблоки.

А в корзине было двадцать яблок. И наша обезьянка хотела позвать другую обезьянку, для того чтобы им вдвоем изобразить цифру двадцать. Но потом она, чтоб не делиться яблоками с другой обезьянкой, сама ухитрилась изобразить то, что нужно. И за это получила все яблоки. И если она теперь не объелась, то это прямо удивительно.

Умная белка

Одна белка захотела летать по воздуху. «Целый день, — думает, — прыгаю с ветки на ветку, как ненормальная, а летать не могу. Что за безобразия!» Сидит белка на дереве и горюет. Летит птичка и спрашивает белку:

— Что ты сегодня какая странная — сидишь и не прыгаешь?

Белка говорит:

— Какой интерес мне прыгать? Птицы летают, люди летают, жуки летают, разные мошки, мушки и комарики тоже летают. Летучие муравьи, рыбы, мыши и те летают. И только я летать не могу. А мне охота немножко полетать. А то живу, как в лесу, и ничего интересного не вижу.

Птичка говорит:

— Я бы тебя взяла с собой полетать, но ты тяжелая. Тебя только двенадцать птичек могут на воздух поднять.

Белка говорит:

— Тогда позови мне двенадцать птичек, пусть они меня по воздуху покатают, а то я от скуки с ума сойду.

Птичка почирикала — чирик-чирик, и тотчас прилетели еще одиннадцать птичек.

Белка нашла двенадцать веревочек и каждую птичку привязала за ножку. Потом взяла в одну лапку шесть веревочек с птичками и в другую лапку тоже шесть веревочек с птичками.

Птички взмахнули крылышками и полетели.

Вот летят птички, а под ними белка летит — держится за веревки и дрожит от страха. Кричит птичкам:

— Птички-сестрички, хватит! Спускайте меня вниз. У меня головокружение.

Птички говорят:

— Ну нет. Раз ты летать захотела, так мы тебя под самые облака поднимем и там целый день крутить будем, пока ты не захвораешь. Тем более что ты из наших гнездышек яички воруеть. Вот будешь знать, как воровать.

Птички взмахнули крылышками и поднялись еще выше.

А белка под ними висит и от страха «мама» сказать не может.

И от страха наша белка выпустила из одной лапки шесть веревочек с птичками. И эти птички улетели в сторону.

А остальные шесть птичек, которых белка держала за веревки, почувствовали, что им тяжело, и стали понемножку спускаться вниз.

И тогда наша догадливая белка выпустила из лапки еще две веревки. И тогда еще две птички улетели.

И на четырех птичках наша белка довольно плавно спустилась на землю.

И там она тотчас взобралась на дерево.

И стала на дереве прыгать и веселиться.

Еще одна умная белка

А другая белка, по имени Белочка-тарелочка, прыгая с ветки на ветку, увидела под деревом гриб.

«Не понимаю, — подумала Белочка, — почему наши лесные зверьки не хотят использовать этот гриб так, как надо».

— Во-первых, — сказала Белочка, — гриб может служить хорошим столом. Лучше я буду за этим столом кушать, чем на ветке. С ветки я и упасть могу, и кушанье могу уронить. А тут вон как удобно.

— Во-вторых, — сказала белка, — очень неудобно, когда дождь идет, — я мокну и простужаюсь. Я постоянно кашляю и чихаю. А если я возьму большой гриб на тонкой ножке, то он вполне заменит зонтик. Вон как приятно во время дождя.

— В-третьих, — сказала Белочка, — гриб поможет мне еще в одном деле. Когда солнце очень сильно греет — я это не люблю, потому что я в шубе. Я хочу сидеть в прохладе. И пусть мне гриб будет вместо тенистой беседки.

— Наконец, — сказала белка, — я могу прыгать с дерева с этим грибом. Он будет мой парашют.

И белка, взобравшись на высокое дерево, прыгнула вниз, держа в своей лапке гриб. И была очень рада и довольна, что так здорово придумала.

Интересно придумала

Одна собака, по имени Лёшка, увидела на комодке колбасу. А дома никого не было.

Наша собачища расхрабрилась и решила эту колбасу стянуть.

И до того она захотела полакомиться этой колбаской, что даже глазки у нее загорелись и слюнки потекли.

Вот видит собака колбасу, а достать ее не может, потому что комод высокий, а она сама маленькая, чуть побольше кошки.

Маленькая-то она маленькая, но довольно хитрая. Она немножко подумала, как профессор, и вот что придумала.

Сначала зубами выдвинула нижний ящик комода.

Затем взобралась на этот ящик и немного выдвинула второй ящик.

Взобравшись на второй ящик, она совсем немного выдвинула и третий ящик.

И тогда получилось что-то вроде лестницы.

И наша собачонка спокойно и без тревог поднялась по этой лестнице, достала колбасу и слопала ее без остатка.

Потом пришли хозяева. Они рассердились, что исчезла колбаса, и хотели побить собаку. Но когда узнали, каким образом собака достала колбасу, они не стали ее бить. Только засмеялись и сказали:

— Ох, до чего умная у нас собака! Даже нам не жалко, что она колбасу съела.

Пора вставать!

Один мальчик, по имени Павлик, поступил в этом году в школу. И он очень боялся опоздать на уроки. А в доме у них будильника не было.

Только были стенные часы «ходики».

Тогда мальчик решил сделать себе будильник.

Он заметил, что, когда он встает утром, гиря от часов доходит почти до табуретки.

Тогда он поставил на табуретку чайник с водой. Утром гиря опустилась в воду и, по закону физики, вытеснила воду из чайника.

Но из чайника вода потекла не на пол, а она потекла по резиновой трубочке, которую мальчик приделал к чайнику.

И вот течет вода из чайника по трубочке и капает на мальчика. И мальчик уже знает, что восемь часов — пора вставать.

Но потом родители мальчика не разрешили ему пользоваться этим будильником, потому что вода текла прямо на кровать и это было неудобно.

И папаша принес откуда-то настоящий будильник. И с тех пор мальчик сам заводил этот будильник и каждое утро вставал в указанное время.

В гостях у клоуна

Один клоун жил за городом. У него была там дача с большим забором.

И все люди проходили мимо и ничего особенного не видели.

Однажды клоун позвал меня к себе в гости.

Он сказал:

— Зайдите ко мне в гости, и вы увидите много интересного. У меня имеются дрессированные животные. Все они исполняют по дому какую-нибудь работу и без дела не сидят.

И вот я пошел в гости к этому клоуну.

Открываю калитку, вхожу в сад и вижу поразительную картину.

Слон цветы поливает. Медведь с подносом идет и несет хозяину лимонад. Пила-рыба пилит дрова. Обезьянка на крыше трубу чистит. Дятел носом приколачивает доску, которая отвалилась. А у крыльца на лестнице лежат два огромных льва и хвостами машут.

Хозяин говорит:

— Идите смело. Не бойтесь. Все звери у меня дрессированные — они вас не тронут.

И я сел с хозяином за столик, и медведь принес на подносе какао.

Хозяин спросил:

— Ну как, нравится у меня?

Я говорю:

— Очень нравится. Особенно красиво, что у вас в пруде фонтан устроен.

Клоун говорит:

— Нет, это у меня там кит плавает и шалит с водой.

Я выпил какао и стал прощаться с хозяином.

Хозяин говорит:

— Как-нибудь в другой раз еще зайдите, я покажу вам, что у меня внутри дома делается. Там у меня зайцы посуду моют. Белки сапоги чистят. Крабы орехи колют. Кошки двери открывают. Собаки в креслах сидят. Лисицы в кроватях спят. Так что мне и деваться некуда — сижу целый день в саду и лимонад пью.

Я попрощался с клоуном и пошел к выходу.

Было уже темно. Жираф с фонарем освещал мне дорогу. Гусь клюнул меня в ногу, когда я нечаянно на грядку наступил. Медведь открыл калитку.

И я вышел на улицу и пошел домой.

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

В начале революции я служил младшим следователем уголовного розыска.

Конечно, тогда не было крупных специалистов в этом деле. А каждый гражданин, умеющий читать и писать, мог поступить на эту интересную службу.

И действительно — много интересных и забавных дел проходило через наши руки.

Но из всех дел мне наиболее всего запомнилось одно загадочное происшествие в Лигове.

Сию я, представьте себе, на службе и чай пью.

Вдруг прибегает ко мне запыхавшийся человек и говорит:

— Я стрелочник Фролов. Служу в Лигове. Ночью воры у меня украли козу. Это такая для меня беда, что я весь дрожу от огорчения... Умоляю вас — раскройте это преступление и верните мне украденную козу.

Я ему говорю:

— Ты не волнуйся. Сядь и расскажи подробней. А я с твоих слов составлю протокол, после чего мы сразу поедем на место происшествия, найдем вора и отберем от него твою козу.

Стрелочник говорит:

— Два дня назад я купил себе козу, чтобы пить молоко и поправляться. Я за эту козу дал мешок муки. Это была дивная породистая коза. Я вчера ее на ночь закрыл в сарай на замок, но воры пробрались ко мне во двор, сломали этот замок и украли козу. Что я теперь буду делать без козы и без муки — я и сам не представляю.

Вот я составляю убийственный для вора протокол, вызываю старшего следователя и советую ему сразу поехать, чтобы по горячим следам раскрыть эту кражу.

А старший следователь у нас был довольно опытный работник. И только у него единственный недостаток, — он если сильно поволнуется, то в обморок падает. Потому что в него однажды один вор стрелял из револьвера. И вот он с тех пор стал немного пугливый. Если какой-нибудь стук раздастся, или там доска упадет, или кто-нибудь громко крикнет, то он моментально падает без сознания. Так что его одного никогда у нас не пускали, а всегда его кто-нибудь сопровождал.

А так-то он был хороший агент и очень часто раскрывал кражи. Его все у нас звали «дядя Володя».

Вот дядя Володя и говорит мне:

— Давай быстрее собирайся, поедем в Лигово, чтобы выяснить, кто у стрелочника украд козу.

Через десять минут мы вместе с пострадавшим стрелочником садимся в поезд и едем в Лигово.

И вот стрелочник приводит нас к себе на двор. И мы видим небольшой одноэтажный домик. Двор, огороженный высоким забором. И небольшой сарай, в котором была заперта коза.

Теперь этот сарай настезь раскрыт. Замок на нем сломан и еле висит на железном кружке. И в сарае пусто. Никакой козы нету. Только немного сена лежит.

Дядя Володя, моментально осмотрев сарай, говорит:

— Перед нами, товарищи, типичная картина ночной кражи со взломом. Вор перелез через забор, железным предметом сломал замок

и, проникнув в сарай, увел с собой козу. Сейчас обследую почву, найду следы и доложу вам, какую вор имел наружность.

И с этими словами дядя Володя ложится на землю и разглядывает след.

— Перед нами, — говорит он, — типичная воровская походка. Вор, судя по следам, высокий, худошавый гражданин средних лет. И сапоги у него подбиты железной подковкой.

Стрелочник говорит:

— Поскольку у меня сапоги подбиты железной подковкой, то вы там не спутайте меня с вором, умоляю вас. А то, чего доброго, я через вас попаду в тюрьму. Тем более — я тоже худошавый и средних лет. Вы наденьте на нос очки и глядите получше — нет ли там еще каких-нибудь других следов.

Дядя Володя говорит:

— Кроме этих следов, имеются еще одни обыкновенные следы. И рядом с этими следами видны отпечатки ног маленького мальчика или девочки. Так что перед нами типичная картина ночной кражи. Два вора и их маленький помощник, пробравшись во двор, взламывают сарай и втроем угоняют козу.

Стрелочник, чуть не плача, говорит:

— Откуда же два вора! Ведь одни следы с подковкой мои. Что же, значит, я сам у себя козу украл? Что вы наводите тень на плетень? Нет, я, кажется, зря вас пригласил.

Тут во двор собирается громадная толпа. Все с интересом смотрят, что будет дальше. Дядя Володя говорит:

— В таком случае я допускаю, что вор был один со своим маленьким помощником. Причем этот маленький помощник обут в дырявые сандалии на босу ногу и сам он лет шести или семи.

Только он так сказал, вдруг в толпе детский плач раздается.

И вдруг все видят, что это плачет маленький подросток Минька, племянник своего дяди, этого стрелочника, живущий тут же.

Все на него смотрят и видят, что он обут в дырявые сандалии.

Его спрашивают:

— Что ты, Минька, плачешь?

Минька говорит:

— Я встал утром и зашел в сарай. Я козе дал капустный листочек. Я козу только два раза погладил и пошел по своим делам ловить в пруде рыбок. Но замок я не трогал. И дверь была раскрыта.

Тут все удивились. И дядя Володя тоже очень удивился.

Стрелочник говорит:

— Как же он, шельмец, мог гладить утром мою козу, если она уже была украдена? Вот так номер.

Дядя Володя, потерев свой лоб рукой, говорит:

— Это очень загадочная кража. Или нам с вами вор попался какой-то ненормальный. Ночью он замок сломал, а днем козу украл.

Жена стрелочника говорит:

— Может быть он ждал, чтобы Минька ее покормил. После чего он, наверное, ее увел.

Дядя Володя говорит:

— Одно из трех — либо мальчику приснился сон насчет козы, как он кормил ее капустой, — бывают такие сны в детском возрасте, — либо вор свихнулся во время кражи, либо тут хозяева ненормальные.

Я говорю:

— Есть еще четвертое предположение: вор сломал замок и украл что-нибудь другое. А утром коза решила прогуляться и, выйдя на улицу, заблудилась.

Стрелочник говорит:

— Нет, коза не могла сама уйти. У меня весь двор обнесен высоким забором, и все было заперто. И калитка у меня на пружине — сама хлопывается. А что касается сарая, то, кроме козы, там ничего не было. Там у меня лежал мешок муки, на которую я променял козу. И эту козу я закрыл в сарае. Это была породистая коза, и мне ее чересчур жалко.

Сказав это, стрелочник от волнения ударил палкой по дверям сарая. И дядя Володя, подумавши, что началась стрельба, моментально упал в обморок.

Я велел принести воды, мы попрыскали водой дядю Володю, потом дали ему понюхать толченого перца, и он снова приступил к исполнению своих обязанностей.

Он сказал:

— Теперь мне все совершенно ясно. Вор, взломав замок и найдя там вместо ценностей козу, расстроился и не захотел ее взять, испугавшись, что она заблеет и разбудит хозяина. Но потом, вернувшись домой, вор стал жалеть, зачем он не украл козу. И тогда он взял веревку или мешок, чтоб замотать козе морду, и снова под утро явился сюда за козой.

А мальчик Минька в аккурат перед этим заскочил в сарай и покормил ее.

Тут все заплодировали следователю. А Минька еще больше заплакал.

Какая-то тетка сказала:

— Совершенно верно. Я рано утром проходила по улице и видела, как какой-то мужчина нес в руках большой мешок и там в мешке у него что-то хрюкало.

Дядя Володя говорит стрелочнику:

— Вы вспомните хорошенько, — может быть, это у вас была свинья, а не коза. Вот, может быть, она и хрюкала, когда ее вор в мешке нес. Может быть, вчера, во время обмена, вам подсунули поросенка вместо козы. И вы, не разглядевши как следует быть, заперли его в сарай.

Стрелочник, чуть не плача, говорит:

— Нет, я чувствую, что я вас зря пригласил. У меня была в сарае коза, а то, что несли в мешке, это не у меня украдено.

Дядя Володя говорит:

— Я там не знаю, у кого украдено. Но я устанавливаю факт, что вор украл поросенка и унес его в мешке... Пусть мальчик Минька скажет, что за животное было в сарае. Отвечай, Минька, какое животное было в сарае, какого оно цвета и сколько ног? За дачу ложных показаний ответишь по закону.

Минька, отчаянно заревев, говорит:

— Оно было белого цвета. И оно имело три ноги.

Услышав это, следователь чуть было опять в обморок не упал.

Он сказал:

— Без сомнения, это был белый поросенок, от которого вор отрезал одну ногу для производства ветчины.

Стрелочник, охнув, сел на корточки и закричал:

— Ой, тошнехонько! Что они со мной делают! Я теперь вижу, что я зря пригласил сюда этих агентов. У меня была коза, а они мне поросенка без одной ноги вкручивают.

Дядя Володя говорит Миньке:

— Отвечай своему дяде, что было в сарае — коза или поросенок... Бляло оно или хрюкало?

Стрелочник добавляет:

— А если ты у меня соврешь, то я тебе, шельмецу, голову оторву.

Минька сквозь слезы говорит:

— Не знаю, что там было. Я рыбок пошел ловить. И до вашей дурацкой козы я не дотрагивался. Только я дал ей капустки покушать и сразу ушел.

Дядя Володя говорит:

— Ясно — это был поросенок.

Только он так сказал, и вдруг откуда-то сверху раздается:

— Бя-а-а.

Вся толпа ахнула, когда услышала эти звуки. Стрелочник, закачавшись на своих ногах, закричал:

— Братцы, где-то здесь моя коза. Это ее голос сверху раздается.

Тут все в одно мгновение посмотрели наверх. И все вдруг увидели, что коза стоит около трубы на крыше. И хотя дом был низенький, но все-таки было странно, что коза стоит на крыше.

Стрелочник закричал:

— Братцы! Вон моя коза. Да кто же это ее, братцы, загнал на такую высоту?

Дядя Володя говорит:

— Действительно, это коза, а не поросенок. Черт меня дернул сюда приехать. Я тут последние мозги теряю.

Стрелочник говорит:

— Братцы, может быть, это мне все снится, что моя коза на крыше стоит.

Жена стрелочника говорит:

— Поди проспись, если тебе это снится. А наша коза, действительно, стоит на крыше и на тебя, дурака, сверху вниз смотрит.

Дядя Володя говорит стрелочнику:

— Может быть, ты вчера, променяв козу, от радости выпил и вместо сарая подкинул ее на крышу и теперь сам удивляешься, что она там. Иначе нельзя понять, почему твоя коза на крыше очутилась.

Стрелочник говорит:

— Знаете, я скорее вас на крышу подкину, чем буду свою породистую козу уродовать. А там за домом у меня привезены доски для строительства. И я их прислонил к дому, чтоб они на земле не валялись. Но доски лежат довольно круто. И это удивительно, если коза по ним на крышу зашла.

Вдруг из толпы выходит вперед человек. Он говорит:

— Я доктор медицины. Я, говорит, могу это подтвердить. Многие козы живут и пасутся на горах и ходят по самым крутым и отвесным скалам. Есть персидские козероги, и есть швейцарские породистые козы, которые не только бегают по крутым скалам, но и прыгают до трех метров в длину. И, может быть, ваша коза имеет среди своих родителей такую породу. Тогда ничуть не удивляйтесь, что она забралась по доскам на эту крышу. Тем более, на крыше у этого хозяина растет не только трава, но даже мелкие кустики и бузина.

Стрелочник Фролов с гордостью говорит:

— Когда я менял свою муку на эту козу, мне так и сказали: это породистая коза. Но я им не поверил. А теперь верю, и я так счастлив, что свои чувства я даже и передать вам не могу. Я гляжу на свою, стоящую на крыше, горную козу, и у меня от радости слезы капают.

Дядя Володя говорит:

— Теперь мне эта история совершенно ясна. Вор сломал замок, чтобы украсть какую-нибудь ценную вещь. Но, найдя в сарае только козу, плюнул и ушел красть в другое место. И вот его следы... Впрочем, нет — это мой след. А его, наверно, вот эти... Минька, вставши поутру, зашел в раскрытый сарай и покормил козу капустой. Вот и Минькины следы. Коза, желая прогуляться, вышла из сарая и, обойдя двор, увидела на крыше зелень. И, будучи горной козой, без труда забралась на крышу по этим доскам. Вот и ее маленькие, как точки, следы... Хозяин, проснувшись, увидел раскрытый сарай и сломанный замок. Прибежал к нам и сообщил о краже. И вот его следы... Теперь каждому ясно, что тут произошло... Доставайте вашу козу с крыши, и мы со спокойной совестью поедем в Ленинград раскрывать еще более сложные кражи. Наша задача выполнена тут с превышением.

И, сказавши так, он снял свою кепочку, чтоб со всеми попрощаться.

И коза со своей крыши снова произнесла:

— Бя-а-а.

Вдруг стрелочник закричал:

— Братцы следователи! Моя породистая коза забралась на крышу. Но хотел бы я знать, как я ее теперь оттуда достану. Тем более, крыша довольно крутая, и если я полезу наверх, то или коза у меня упадет, или я сам к черту вниз свалюсь... Товарищи следователи, я вам дам хорошую премию: стакан молока и два фунта хлеба, если вы мне доставите козу без повреждения.

Вдруг один из толпы выходит вперед и говорит:

— Хотя я инвалид и хромаю, но за эту премию я могу вашу козу вниз доставить. Только мне нужна веревка, чтобы я мог привязать себя к трубе, поскольку я из-за вашей дурацкой козы не очень-то интересуюсь вниз падать.

Тут ему дали веревку, и он, приставив лестницу к крыше, полез под аплодисменты всех собравшихся.

Он привязал веревку к трубе и другим концом обвязал себя. И в таком виде стал тянуться к козе, которая доверчиво поджидала, что будет. Но когда он слишком потянулся, то старенькая труба покачнулась и рухнула.

Нет, привязанный не упал, он успел удержаться, но рассыпающиеся кирпичи рухнули во двор, и один из них слегка зашиб дядю Володю, который тут же без лишних слов и восклицаний грохнулся в обморок.

Полезший на крышу успел схватить козу. И он вместе с ней, как по горке, съехал по доскам вниз к радости всех собравшихся.

Хозяин ему сказал:

— Что ты снял козу — это хорошо, но то, что ты мне, хромая обезьяна, трубу испортил, — вот за это я тебе премии не дам.

Инвалид говорит:

— Тогда я твою козу обратно сейчас наверх закину.

Стрелочник говорит:

— Ну, ладно, дам. Только не трогай мою козу грязными руками.

И тут он нежно поцеловал свою козу и торжественно увел в сарай.

Ушибленный дядя Володя хотел уехать, но стрелочник не отпустил его. Он сказал:

— В благодарность за вашу четкую работу я хочу вас, товарищи агенты, угостить козьим молоком и свежим хлебом.

Мы сели на лавочку и стали ждать угощения.

Дядя Володя, подозвав к себе Миньку, сказал ему строго:

— Что же ты, дурной мальчишка, запутал органы следствия? Зачем же ты сказал, что у животного было три ноги?

Минька, потупившись, говорит:

— А я только до трех считать умею.

Тут все собравшиеся весело засмеялись и не хотели уходить, хотя стрелочник открыл ворота и кричал, чтоб все посторонние моментально ушли, а то, чего доброго, коза еще раз пропадет.

Потом стрелочник, выгнав посторонних, взял горшок и побежал в сарай подоить козу.

Вдруг он оттуда возвращается бледный как глина и говорит:

— Знаете, у козы нету молока. Ее кто-то выдоил. Вот так номер!

Дядя Володя говорит:

— Я так и думал. Картина преступления мне совершенно ясна. Вор, не найдя в сарае ничего ценного, подоил козу и, подкрепив этим свои силы, ушел.

Вдруг приходит жена стрелочника с горшком в руках. Она говорит:

— Нет, это я козу подоила, когда муж выгонял со двора людей.

Тут все рассмеялись и начали кушать хлеб и пить молоко.

Потом мы попрощались с любезным хозяином и пошли к поезду.

Но только мы вышли из калитки, как раздался крик хозяина. Он нам кричал:

— В сарае у меня были рваные валенки, и теперь их нету.

Дядя Володя ему ответил:

— Картина кражи мне ясна. Вор не хотел путаться с козой, а вместо этого украл, что было в сарае.

После этого мы еще раз попрощались и уехали.

А через полгода, когда наступила зима, это дело окончательно выяснилось.

Проходя в Лигове по улице, стрелочник увидел на одном гражданине свои валенки, которые он узнал по зеленому клейму.

Он задержал этого гражданина. И тот в милиции сознался, что это он осенью сломал замок, надеясь украсть из сарая мешок муки, о котором он слышал от одного гражданина. Но он не знал, что мешок муки стрелочник уже обменял на козу. Через это и произошла неувязка. И вор, не найдя муки, схватил валенки и с ними удрал.

Вора на полгода посадили в тюрьму. И дядя Володя, узнав об этом, сказал:

— Картина кражи теперь окончательно выясняется. Вор хотел украсть муку, но украл валенки. И теперь за это он попал в тюрьму.

Пока вор сидел в тюрьме, породистая коза принесла своему хозяину двух чудных козлят. И стрелочник Фролов был очень этим доволен.

Между прочим, эта коза очень долго у него жила и всех удивляла своими прыжками и тем, что могла ходить по самым отвесным доскам. Но на крышу она почему-то больше никогда не лазила. Наверно у нее от этой крыши остались все-таки неважные воспоминания.

А Минька теперь вырос. Он сейчас — студент Горного института, Михаил Степанович Фролов.

Между прочим, случайно узнав, что я пишу рассказ об этом происшествии, он недавно пришел ко мне и просил всем читателям кланяться. И велел сказать, что он теперь не только до трех считать умеет, но до триллиона и даже больше.

Пламенный привет читателям от меня, от Миньки и от дяди Володи.

РАССКАЗЫ О ПАРТИЗАНАХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Война подходила к концу. Немецкие войска стремительно отходили на запад под натиском Красной Армии.

Ленинградская область была уже почти вся очищена от гитлеровских захватчиков.

И вот в эти дни, ранней весной 1944 года, в Ленинград стали съезжаться партизаны из освобожденных районов.

Был устроен торжественный парад. И это поистине было незабываемое зрелище. По улицам Ленинграда шли юноши и девушки, старики и подростки. Шли колхозники, студенты, учителя. Шли простые люди, не пожелавшие гитлеровского рабства. Шел народ, изгнавший врага со своей родной земли.

Почти все партизаны шли с оружием — с автоматами, винтовками, карабинами. Это оружие было главным образом немецкое, отнятое у врага в кровавых боях.

Некоторые из партизан были обмотаны пулеметными лентами. У некоторых за поясом торчали ручные гранаты.

Многие только что вышли из лесов, из землянок.

Это действительно был необыкновенный парад, который уже никогда нельзя повторить или организовать в том непосредственном виде, в каком он тогда происходил.

В те дни во многих учреждениях были устроены встречи партизан с ленинградцами.

На этих товарищеских встречах партизаны рассказывали о своих боевых делах, о своей подрывной работе в тылу врага, делились воспоминаниями о недавних суровых и героических днях.

Многие из этих рассказов я вкратце записал. И после нескольких вечеров моя записная книжка была заполнена необыкновенным материалом для большой героической повести о партизанах.

Однако, когда я стал писать эту повесть, я понял, что обычная повествовательная форма не вмещает в себя столь сложный и огромный материал. Причем этот материал нельзя было урезать или ограничить привычными рамками сюжетной повести. Это гасило документаль-

ность и уводило подлинную жизнь к приглаженной беллетристике, что мне казалось здесь неуместным.

Я отложил работу с надеждой, что когда-нибудь в дальнейшем я найду иную форму, иные литературные границы, которые позволят мне подать этот исключительный материал в некоторой его гармонии.

И вот теперь, спустя два года, я снова обратился к этой работе.

Сначала я было остановился на сборнике партизанских рассказов. Но и это оказалось неприемлемой формой. Такого рода сборник не выводил материал из неподвижности. Общая картина оставалась смазанной, хаотичной.

Тогда мне показалось, что если отдельные рассказы сложить правильно, то есть в должном порядке, как, допустим, складывают кубики, — получится то, что я ищу, — такое литературное произведение, в котором можно (хотя бы частично) изобразить картину, какую я представил себе, слушая рассказы партизан.

Именно так и сделана моя книга, каждый рассказ которой является главой повествования о том, как народ помог Красной Армии победить немцев. И о том, как немцы, потерпев поражение, долго не могли понять, почему с ними случился подобный казус.

Однако повествование мое не претендует на сколько-нибудь полную картину партизанского движения в Ленинградской области.

Для этого потребовался бы обширный и систематически подобранный материал. Я же свою книгу строил на случайных рассказах, на нескольких стенограммах и на тех беседах с партизанами, какие мне довелось иметь весной 1944 года.

Но я и не ставил своей задачей писать историю партизанского движения в области. Основная моя цель была иной и более скромной — мне хотелось в художественной форме, основанной на подлинных фактах, показать людей и их поступки на фоне грандиозной борьбы.

Январь 1947 Ленинград

1. ВОТ ЧТО ОНИ ОБЕЩАЛИ

В деревню Черенково гитлеровцы вошли в августе сорок первого года.

Они сразу отдали жителям приказ не выходить на улицу до особого распоряжения. И люди два дня сидели по своим домам, не зная, что вокруг происходит.

На третий день гитлеровцы велели жителям собраться на площади, там, где обычно бывали собрания.

Люди собрались на этой площади и долго стояли в ожидании. Думали, что кто-нибудь из немцев сейчас приедет и что-нибудь им скажет.

Однако, видят, никто не приезжает. И только по улице ходит патруль из двух гитлеровцев. Но эти ходят молча, покуривают, искоса поглядывая на собравшихся.

Наконец один из патрульных сердито говорит людям:

— Зачем вы стоите спиной к наша картина? Или ваша тупой затылок имеет свои глаза?

А на площади помещалась Доска почета. Там обычно выписывались имена передовиков сельского хозяйства. Доска эта находилась несколько в стороне, за деревянной трибуной, и поэтому люди не обратили на нее внимания. И вот теперь видят — на этой Доске почета гитлеровцы наклеили свой плакат. Огромный плакат, отпечатанный разноцветными красками.

Сверху плаката имелась надпись по-русски: «Вот что обещает Германия русскому крестьянину».

В верхнем правом углу этого плаката изображен небольшой кирпичный домик под зеленой крышей. Вокруг домика палисадник с цветами. А около цветов нарисована стройная дама с лейкой в руках. Мило улыбаясь, она поливает цветы. Она поливает круглую грядку, посреди которой на палке золотой стеклянный шар.

Причем этот верхний рисунок обведен особой, весьма нарядной изящной рамкой.

Пониже рамки нарисована внутренность этого домика. Красиво убранная комната. Цветы. Картины в золотых рамах. Тюлевые занавески на окнах. Пианино с раскрытыми нотами.

Помимо этого — зеркала, ковры, фарфоровые статуэтки.

Посреди комнаты стол. На столе самовар. Обильная еда — мед, консервы, ветчина, варенье.

И за этим столом показана крестьянская семья за чаем.

Все сидят важные, надутые, в гордых позах. Мужчины бритые, в крахмальных воротничках. Старенький дед и тот в крахмальной рубашке. Но у дедушки — борода, подстриженная клинышком. При чем дедушка чай не пьет. Он уже изволил откусать и теперь держит в руках карманные часы и на них с восхищением смотрит. Видимо, художник хотел показать, что даже дедушка имеет свои карманные часы и вот как он этим доволен.

Что касается женщин, то немецкий художник выписал их с особым старанием. Они в модных прическах. У всех брошки на груди. Серьги в ушах. И на руках кольца, браслеты, запястья.

И чай пьют женщины из чашек, красиво оттопырив свои мизинчики.

Дети выписаны тоже старательно. У мальчиков проборы на головах. У девочек пышные цветные банты.

Вот такую чисто немецкую идиллию изобразил художник, желая показать, что эта картина является идеалом и нашей крестьянской жизни.

Без улыбки нельзя было глядеть на этот плакат, до того художник фальшиво и как-то не по-нашему изобразил тихое крестьянское счастье, в котором крахмальный воротничок и золотые браслетки являются высшим достоинством.

Люди улыбались, рассматривая эту картину. Но особенно всех рассмешила комнатная собачка, которую художник спешно пририсовал на коврике подле стола. Это была небольшая белая собака, вроде болонки, — с кисточкой на хвосте и с голубым бантиком на шейке. В ленивой позе она лежала на пестром коврике — сытая и довольная, отвернув свою мордочку от чашки с молоком.

И вот люди с улыбкой глядят на эту изнеженную собачку, а один, нарочно глубоко вздохнув, говорит:

— Всю, говорит, свою жизнь я мечтал иметь в своем крестьянском хозяйстве именно такую болонку или мопсика. И вот, говорит, теперь Германская империя осуществила мои лучшие надежды — преподносит мне этот драгоценный подарок.

Люди громко рассмеялись. И тогда другой, пожилой крестьянин говорит:

— А ты на их подарки не надейся. Подарил барин брюки — оторвал за это руки, подарил сапожки — оторвал и ножки.

Снова раздался взрыв смеха. И тогда немецкий патруль сердито посмотрел на смеющихся. И вскоре всем было велено разойтись по домам.

На другой день житель этой деревни комсомолец Володя Рошин покинул свою деревню. Он ушел в лес и там примкнул к партизанскому отряду. И почти полгода он не знал, что делается в его деревне.

Но вот весной сорок второго года командир отряда, давая указания разведчикам, сказал Рошину:

— А ведь ты, Володя, кажется, проживал в деревне Черенково? Вот и сходи туда, выясни — имеется ли там фашистский гарнизон. И если имеется, то в каком количестве.

С большим волнением Володя отправился в эту разведку. С волнением он шел по знакомым дорогам, мечтая поскорей увидеть свою родную деревню.

Вот он миновал поля. Миновал перелесок. Спустился к реке. И тут вдруг увидел, что его деревни нет.

Почти бегом он дошел до тех огородов, где начиналась его деревня. Теперь ее не было. Она была сожжена, или взорвана, или непонятно, что с ней случилось. Но только даже трубы лежали на земле. И все плетни были повалены. Лишь стояли обожженные деревья и кусты, но они были сухие, как веники.

Не без труда Володя нашел то место, где еще недавно находился его дом. Теперь там остался один каменный фундамент. Да лежали еще обугленные головешки. И больше ничего.

Сам не зная для чего, Володя Рошин пошел вдоль деревенской улицы. И там среди праха и разрушения он вдруг увидел знакомую До-

ску почета. Она нетронутая стояла позади поваленной деревянной трибуны. Однако фашистского плаката на ней уже не было. Вернее, там висели обрывки этого плаката, помытые дождем и снегом.

Володе вспомнилась красноречивая надпись, какая была на этом плакате: «Вот что обещает Германия русскому крестьянину».

Еще раз Володя прошелся по пустынной улице. С одной березы с карканьем поднялись вороны. Там висел повешенный. Он был разут, в одном белье. Но кто это был, разобрать не представлялось возможным.

Володя Рошин вернулся в свой отряд и доложил командиру, что в деревне Черенково фашистского гарнизона не имеется и что не имеется и самой деревни, которой нацисты обещали крахмальные воротнички и золотые браслетки.

2. ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ГОСПОДА

В деревню Батово фашисты, к удивлению всех, завезли партию балалаек.

Несколько больших ящиков они выгрузили на станции и там прикрыли их брезентом. А два ящика из этой партии они доставили в деревню на крестьянской телеге.

Привез эти балалайки штатский немец средних лет. Это был уса-тый, франтовато одетый немец в соломенной шляпе и с тросточкой в руках.

Когда везли балалайки, он сидел позади телеги, свесив вниз свои толстые ноги в желтых ботинках. В одной руке у него была сигара, в другой — тросточка.

По-русски этот немец говорил вполне порядочно. Именно поэтому (как он сам доложил обществу) владелец музыкальной фирмы послал его на Восток.

Вокруг его телеги собрались люди. Но это были ребята и женщины. Мужчин среди них не было. И немец выразил сожаление, что нет мужчин, так как именно их может заинтересовать то, что он привез.

Когда ящики сняли с телеги и поставили во двор, немец произнес краткую речь перед собравшимися. Он снял свою соломенную шляпу и сказал:

— Добрый день, господа! Владелец моей фирмы направил меня в русскую деревню продать этот товар крестьянам, для того чтобы они, добросовестно работая на Германию, имели бы по вечерам разумное развлечение в меру своих музыкальных способностей.

Тут немец сказал несколько слов о влиянии музыки на работоспособность человека. И подчеркнул, что идея завезти балалайки в деревню всецело одобрена военным командованием. Именно военное командование разрешило послать музыкальный груз по железной дороге, что сейчас не является обыкновенным делом. Однако

родственная связь с одним штабным генералом позволила владельцу его фирмы послать эти балалайки вне всякой очереди, наравне с авиабомбами.

Сказав о военном командовании, немец энергично взмахнул своей тросточкой, как бы подчеркивая этим всю военную значительность его коммерческой операции.

Потом немец сказал, что отпуск балалаек будет производиться в обмен на сельскохозяйственные продукты. Он вынул из кармана записную книжку и зачитал, из какого расчета будет происходить мена. Так, например, за балалайку нужно будет сдавать 16 килограммов зерна, или 40 куриных яиц, или 2 кило масла, или 1,5 куры.

Это расписание, сколько надо сдавать за каждую взятую балалайку, немец обещал вывесить на воротах. Закругляя свою речь, немец сказал:

— Итак, завтра, в воскресенье, я открываю продажу балалаек. Объявите об этом всему населению вашей, так сказать, уважаемой деревни. С богом, господа.

Тогда одна женщина, которая слушала эту речь, сказала немцу, что он, видимо, напрасно привез сюда свой товар, так как у них в деревне никто на балалайках не играет.

Немец не без тревоги спросил:

— Разве у вас в деревне такая перемена? На чем же у вас теперь играют?

Женщина сказала:

— Сейчас у нас вообще никто не играет. А до войны некоторой симпатией пользовалась у нас гитара, отчасти аккордеон и, наконец, рояль, находящийся в нашем клубе. Но во всяком случае не балалайки.

Немец сказал:

— Не знаю, господа, у нас во всех справочниках отмечено, что вы играете на балалайках и что это ваш любимый национальный инструмент.

Многие засмеялись, а женщина сказала:

— До войны у нас в деревне был великорусский оркестр, куда входили и балалайки. Но самостоятельной игры на балалайке, как бывало когда-то, у нас давно уже нет. Во всяком случае, я не помню, когда это было.

Немец торопливо спросил:

— А как у вас в других деревнях?

Ему ответили:

— Вероятно, то же самое. Конечно, могут найтись любители бала-лаечной игры, но редко, и это главным образом подростки лет по тридцати.

Немец сердито сказал:

— Черт вас знает, русских, чего вы так быстро меняетесь. У нас сказано про вас одно, а у вас теперь не то, другое.

На следующий день немец все же открыл продажу балалаек.

На воротах он укрепил вывеску с нарисованной балалайкой. А под вывеской наклеил листок с указанием, из какого расчета можно приобрести себе балалайку.

На дворе стоял длинный стол. И там, помимо балалаек, лежали еще губные гармошки и свистульки из пластмассы. А также красовались весы и различная тара для сельскохозяйственных продуктов.

Немец нервно ходил по двору, помахивая своей тросточкой и приглашая зайти каждого, кто ошибочно или из любопытства заглядывал во двор.

Однако за весь день никто у него ничего не купил. За исключением, впрочем, одной свистульки, каковую он продал одному семилетнему малышу.

Через день немец грузил свои ящики на подводу. Он был крайне сердит и расстроен. И он сказал одному человеку, который пользовался доверием у немцев:

— Ну хорошо, допустим, ошибся владелец моей фирмы — послал в деревню то, в чем здесь никто не нуждается. Но что же смотрело военное командование, давая срочное разрешение везти сюда балалайки? Вот в этом, к сожалению, я вижу стратегическую ошибку, основанную на неточном знании противника в разрезе его современности.

Чертыхаясь по-русски и по-немецки, коммерсант сел в телегу позади ящиков и отбыл на станцию.

3. АКУЛИНА ИЗ БЕРЛИНА

Вскоре после своего прихода гитлеровцы открыли в селе Воронихи биржу труда.

На бирже сидел специальный писарь — записывал желающих ехать на работы в Германию. А так как желающих не оказалось, то этот писарь просто так сидел, в окно глядел.

Видя, что нет желающих ехать в их фашистскую Германию, гитлеровцы провели особую агитационную кампанию на этот счет. На бирже труда они вывесили листок с указанием, какие льготы получает всякий записавшийся. И в газете стали печатать корреспонденции с мест от имени неизвестных русских лиц, с благодарностью отзывающихся о своей поездке в Германию. Но корреспонденции эти писались в таком возвышенном стиле, что у всех вызывали улыбки.

Не довольствуясь этим, гитлеровцы кинули по деревням своих агитаторов, которые разъясняли, что такое Германия и какое великое счастье там работать. Нет, конечно, в дальнейшем никакой агитации и никаких записей не происходило, в дальнейшем гитлеровцы просто хватали людей и отправляли их в свою фашистскую страну, но в первые дни они пожелали соблюсти некоторый европейский этикет.

В общем, в село Воронихи было брошено два агитатора.

Приехала легковая машина, и оттуда выпорхнули две девицы, прекрасно одетые. Причем совершенно одинаково. У одной маленькая плюшевая шляпка на левом боку. И у другой на левом боку точно такая же шляпка. У одной черная сумка крокодиловой кожи. И у другой такая же.

И обе в одинаковых шелковых платьях. И коралловые бусы на шее.

Но, как говорится, на брюхе шелк, а в брюхе щелк. Не успели эти девицы выскочить из машины, как сразу попросили у населения чего-нибудь покушать. Им дали молока и по две лепешки, и они так жадно это ели, как будто их месяц перед тем вовсе не кормили.

Люди спросили их — кто они, откуда. Жеманьясь, они ответили:

— Мы частные лица. Только что прибыли из Германии, по которой путешествовали ради собственного интереса. И вот теперь хотим поделиться путевыми впечатлениями.

Скорей всего, эти девицы были латышки, но, может быть, и польки. Во всяком случае, у одной, которая была повыше ростом, чувствовался сильный иностранный акцент. И другая, поменьше ростом, разговаривала несколько странно — в нос, как будто у нее был насморк.

Покушав, одна сказала другой:

— Милочка, я беру себе левую сторону деревни, а ты бери себе правую. Через час мы снова сойдемся у машины и поедем дальше.

Та, которая была поменьше ростом и говорила в нос, зашла в первый попавшийся двор и попросила хозяйку собрать всех желающих выслушать ее экстренное сообщение о результатах поездки по Германии.

Человек тридцать собралось во дворе, и девушка сказала им следующее:

— Я только что прибыла из Германии. Объездила Латвию, Эстонию и Литву. Побывала в Дрездене и Берлине. Ах, если б вы знали, как там великолепно живут люди. Ходят в рестораны, в кафе. Посещают танцевальные залы, где танцуют с утра до вечера, совершенно не чувствуя войны...

Встал с места один немолодой колхозник. Извинился, что перебивает ораторшу. Сказал ей:

— А для чего вы нам об этом говорите, дамочка? Что мы, танцевать туда, что ли, поедем? Или как вы понимаете ваши слова?

Девушка сказала:

— Я вам говорю об этом для того, чтобы вы имели понятие, какие бывают страны в Европе, какие бывают настоящие культурные страны, куда поехать одно удовольствие. Там блеск, сверкающая жизнь, какую вы даже представить себе не можете, находясь в вашей деревне.

Немолодой колхозник сказал, снова перебив оратора:

— Ну, допустим, что там немцы живут прилично, что вряд ли, так как союзники их сверху бомбят. А вот другие, и в том числе русские, как там у вас живут?

Девушка сказала:

— Вот об этом я и собираюсь вам говорить. Взять хотя бы тех же иностранных рабочих, и в том числе русских. Они тоже хорошо живут, приятно проводят время. Слов нет, они много работают, однако у них хватает время и для того, чтобы...

Не договорив, девица стала почему-то всхлипывать, поторопилась раскрыть свою сумочку, чтоб достать носовой платок.

И, достав платок, начала плакать.

Люди спросили ее:

— Что с вами? Чего вы плачете?

Девица сказала:

— Нет, просто так... Вспомнила, как живут иностранные рабочие...

Немолодой колхозник, ранее задававший вопросы, сказал:

— Да уж наверно приятно живут, раз у вас слезы брызнули.

Девушка заплакала еще сильнее, и тогда колхозник сказал ей:

— Эх, ты... Акулина из Берлина...

Сквозь рыдание и слезы девушка сказала:

— Это ужас, ужас, как там живут иностранные рабочие. Их морят голодом, заставляют работать до потери сознания. А русских и за людей не считают. Держат в сараях, как скот. Бьют, убивают. Это хуже, чем каторга, для тех, кто туда поедет...

И она стала так плакать, что пришлось принести ей кружку воды, для того чтобы она немного успокоилась.

Выпив воды, она пришла в себя и стала пудриться.

Тут пришла ее подруга и, увидев ее заплаканной, сказала:

— Что с тобой, милочка? Почему ты плакала?

Та сказала:

— Немножко развинулись нервы.

Подружки вышли со двора и пошли к машине.

И та, которая плакала, тихо сказала одной посторонней женщине:

— Там моя подруга тоже беседовала с вашими людьми. Пусть они не верят тому, что она сказала. Вы им передайте то, что слышали от меня.

Женщина ответила ей:

— Конечно, передадим. В этом вы можете не сомневаться.

4. ВСЯКОМУ СВОЕ

Некоторое время колхоз «Большая Речица» держался при фашистах, но вскоре был получен приказ из Берлина — поделить колхозную землю между крестьянами.

Многие колхозники, по своей привычке относиться к земле как к своей кормилице, взволновались, когда речь зашла о разделе. Захотели поскорей узнать, какой будет надел и будет ли земля полагаться малолетним.

Навели справки у старосты. Но тот и сам толком ничего не знал и только делал вид, что он в курсе всех берлинских распоряжений.

Этот староста сам ожидал приезда сельскохозяйственного офицера, чтоб выяснить, как делить землю. И, не дождавшись его, съездил ненадолго в Порхов, чтоб там проконсультироваться.

И там он выяснил, что надел будет крайне небольшой. Один гектар на трех едоков. Причем малолетние ничего не получают.

Это сообщение многих привело в уныние. Особенно в унылое состояние впал некто Фоминков, немолодой колхозник пятидесяти девяти лет. В свое время он критически относился к колхозной жизни и последним по счету перешел в колхоз. Воспитанный на прежних понятиях, он мечтал об единоличном хозяйстве. И вот когда речь зашла о разделе, он проявил исключительный интерес и больше всех шумел, ожидая своего счастья. Однако, узнав, какой будет надел, Фоминков сразу упал духом и стал ругать фашистов и старосту.

Староста сказал ему:

— А ты не удивляйся, что надел такой маленький. Весь левый берег делиться не будет. Та земля отойдет одному германскому промышленнику для его лесопильного завода.

На это Фоминков еще больше забранил фашистов и с энтузиазмом отозвался о прежней колхозной жизни и о советской власти, которая заботливо относилась к их крестьянским нуждам и не разбазаривала землю на сторону. Так сказать, перестроился человек, но вот с таким сильным запозданием.

Сначала раздел земли производили по плану, с тем чтобы потом произвести размежевку на земле.

К этому времени прибыл сельскохозяйственный офицер. И хотя по-русски он почти не понимал, тем не менее он вызвался произнести вступительное слово перед крестьянским обществом.

Никто его речи не понял, поскольку у него русские и немецкие слова были вперемешку. Но одну фразу — о том, что крестьяне есть низший класс, все отлично поняли. Эту фразу гитлеровец произнес особенно четко.

Когда офицер кончил говорить, староста, не привыкший еще к новым гитлеровским порядкам, сказал:

— Кто желает высказаться по данному вопросу?

Тогда Степан Фоминков взял слово и сказал:

— Тут господин германский офицер обронил фразу, что крестьянство есть низший класс. Обидно слышать эти слова хотя бы и от гитлеровца. Из прошлогодней лекции мы с вами узнали, что все население земного шара на три четверти крестьянство. И оно, главным образом, поит и кормит многих и многих, и в том числе и этого немецкого оратора...

Староста зашикал на Фоминкова. Лишил его слова и пригрозил, что отнимет у него один надел за политически невыдержанную речь в присутствии немецкого офицера.

Наконец стали производить раздел. Староста объявил, что он сам получает 12 наделов. Никто не возражал, поскольку было ясно, что этот немецкий подголосок уже имеет согласие свыше на такое количество земли. Но когда староста объявил, что его родной брат Антон — пьяница и хулиган — тоже получает 12 наделов, все этому возмутились. И Фоминков, позабыв все на свете, крикнул:

— За что ж ему, трепачу, двенадцать наделов?! Ведь он всегда ругал советскую власть.

Фашистский офицер сидел в своей машине как истукан. Но когда он услышал эти слова, он крикнул, приподнявшись со своего сиденья:

— Больше нет софецкая власть!

Фоминков хотел было еще что-то сказать, но староста снова на него зашикал и запретил ему что-либо говорить. И при этом сказал:

— Взять хотя бы нашего Фоминкова. Ему полагается четыре надела. Но я сильно сомневаюсь, что он их получит сполна. Кто такой этот Фоминков с точки зрения нового немецкого порядка? Какую ценность он собой представляет для обширной Германской империи? Один его сын служит в Красной Армии. А другой его сынок как будто бы находится среди партизан. Сам же Фоминков до крайности недоволен на язык. И за все эти его минусы я вычитаю с нашего Фоминкова три надела. Вот и рассчитайте теперь, сколько получит наш Фоминков. Он получит один надел.

Услышав, что он получит один надел, Фоминков растерялся. Он побежал к машине, чтоб высказать гитлеровскому офицеру свои соображения.

Однако фашистский солдат не подпустил его к машине. И тогда Фоминков сказал старосте:

— Ты в своем ли уме — давать мне один надел. Ну-ка сообрази — как я обойдусь с моим семейством при одном наделе? Ведь я же с голоду начну пухнуть, что может бросить тень на Германскую империю, на их новый немецкий порядок.

Староста сказал Фоминкову:

— Всякий получает свое. Ты же получишь один надел, и не более того. А если тебе этого мало, то наймись ко мне на работу.

Фоминков с удивлением говорит:

— Что значит «наймись на работу»? Да ты, никак, предлагаешь у тебя батрачить?

Староста говорит:

— Да, я желаю тебя взять в батраки. Посуди сам — могу ли я обработать всю свою землю? Ведь помимо того у меня шесть дарственных коров. Гуси. Овечки. Четыре кабанчика.

Не переставая изумляться, Фоминков говорит:

— Да ты, дядя с барок, что, серьезно зовешь меня в батраки?

Староста говорит:

— Предлагаю это тебе самым серьезным образом. И заявляю всему уважаемому крестьянскому обществу, что отныне свою земельную по-

литуку мы будем строить именно так, чтоб у нас завсегда имелись свои батраки, без которых нам теперь не обойтись.

И тогда брат старосты Антошка крикнул:

— Нам теперь, ясно, без батраков не обойтись.

Фоминков снова побежал к машине, чтоб поговорить с фашистским офицером, но солдат навел на Фоминкова свой автомат и снова не подпустил к машине. И тогда Фоминков сказал, обращаясь к обществу:

— Взгляните на их нахальство... в мои зрелые годы... в батраки меня нанимают...

И, подойдя к старосте, Фоминков крикнул ему:

— Не для того столько лет воспитывала меня советская власть, чтоб ты с фашистами хватал меня за глотку!

И с этими словами Фоминков дернул старосту за бороду так, что тот со стоном упал на коленочки. Офицер велел отвести Фоминкова в комендатуру. А староста, поднимаясь с земли, крикнул Фоминкову:

— Попробуй только вернуться с комендатуры. До гробовой доски ты у меня теперь с батраков не выйдешь.

Однако Фоминков не вернулся. Он шумел в комендатуре, и гитлеровцы отправили его в концлагерь. И что с ним случилось в дальнейшем, никому не известно.

5. ВАС ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ

Весной сорок первого года Лиза Повелихина закончила школу и сразу стала готовиться к экзаменам для поступления в планово-экономический институт. Все лето она решила посвятить занятиям.

Но мать прислала ей письмо из деревни. Пишет: «Нечего тебе делать в городе. Приезжай в деревню. Здесь попьешь молока, отдохнешь и еще лучше подготовишься к своим экзаменам».

Лиза так и сделала. Приехала в деревню. Но буквально на второй день ее приезда началась война.

Девушка решила вернуться в город. Ей не хотелось быть бездеятельной. Но мать сказала ей:

— Не пушу в город. В такой жуткий момент останься тут со мной. А если не хочешь сидеть без дела — готовься к своим экзаменам, которые когда-нибудь да состоятся, поскольку война не будет вечно продолжаться.

Лиза осталась. И хотя теперь занятия не шли на ум, но девушка заставила себя сидеть над книгами.

Между тем нацисты неожиданно заняли деревню. Поблизости не было боев, и никто не предполагал, что так может случиться. Но это случилось, и тогда девушка сказала своей матери:

— Что же мне теперь делать?

Мать сказала:

— Бежать теперь поздно. И тебе остается только одно — сиди тихонько в избе, учись, занимайся. Когда-нибудь война кончится, и тогда ты первая из всех сдашь на «отлично» свои экзамены, имея такую длительную подготовку.

Как в тумане проходили дни при фашистах. Лиза помогала матери по хозяйству. Несколько раз ходила вместе с жителями деревни на работы. А в свободное время по-прежнему склонялась над книгами. Читала, составляла конспекты. Но все это делала она как-то машинально, без чувства и должного внимания, хотя где-то в душе и теплилась неясная надежда, что все это ей в дальнейшем пригодится.

И вот однажды Лиза сидит у открытого окна. Читает. И что-то записывает на листочке.

Неожиданно книга ее захлопнулась. Лиза подняла глаза. Перед окном на улице стоял гитлеровский офицер — молодой, франтоватый, с хлыстиком в руках. Этим своим хлыстиком он и захлопнул книгу.

Несколько раз перед тем Лиза видела этого офицера. Он всегда с улыбкой посматривал на нее. И даже как-то раз заговорил с ней. Что-то спросил ее по-немецки. А Лиза прилично знала язык. Все понимала и немного разговаривала. Она ответила ему по-немецки, но разговора не стала поддерживать — ей было неприятно беседовать с врагом.

И вот теперь этот офицер стоял перед окном и с улыбкой смотрел на девушку. Спросил ее:

— Что вы изволили читать? Роман?

Лиза ответила:

— Нет, это учебник политэкономии. Я готовлюсь к экзаменам.

Офицер весело рассмеялся. Сказал:

— Птичка моя, это напрасный труд. Это вам больше никогда не пригодится.

— Почему? — спросила Лиза с удивлением. Офицер сказал:

— Нам не понадобятся образованные люди в России.

Лиза воскликнула:

— Вам не понадобятся, но нашей стране они будут нужны.

Офицер снова рассмеялся. Сказал:

— Ваша страна, мадамгазель, изменит свое лицо до полной неузнаваемости. Она не будет в том прежнем виде, в каком вы ее привыкли видеть и понимать. Нет сомнения, здесь будут проживать русские люди, нужные нам. Но это будут мастеровые, ремесленники, работники сельского труда. Но интеллигенции среди них абсолютно не будет.

С недоумением Лиза спросила:

— Где же, по-вашему, будет интеллигенция? Куда же она денется?

Похлопывая хлыстиком по своей ноге, офицер сказал:

— Ну, не знаю, душечка. За Урал уедут. Во всяком случае, здесь ваши интеллигенты проживать не будут. Иначе они помешают нашим планам, с которыми они, очевидно, не пожелают согласиться.

С волнением Лиза спросила гитлеровца:

— Поэтому вы и расстреляли нескольких человек из нашей сельской интеллигенции?

Гитлеровский офицер сказал:

— Я не знаю, почему они были расстреляны. Возможно, что именно поэтому они и пришли к своему печальному концу.

Все это гитлеровец говорил легким, веселым тоном, как будто речь шла о самых простых, повседневных делах.

Ужасное волнение охватило Лизу. Она побледнела, и руки у нее стали дрожать.

Мать, увидев ее в таком состоянии, замахала на немца руками и сказала ему, воспользовавшись тем, что он не понимает по-русски:

— Хватит, понимаешь! Довольно! Прекрати к черту беседу с ней. Иди к своим.

Фашист по-русски действительно не понимал, но на этот раз он понял, что его просят удалиться. Кисло улыбнувшись, он попросился с Лизочкой. И отвесил полупоклон мамаше, на которую он заметно обиделся за то, что та энергично махала руками перед его лицом.

Когда нацист ушел, Лиза бросилась на кровать. Волнение ее душило. Никогда она раньше не задумывалась, кто она — русская или кто такая. Почему-то раньше она не придавала этому значения. А сейчас она вдруг поняла, что происходит что-то ужасное и такое, которое может уничтожить ее родную страну, может уничтожить русских или превратит их в бессловесных немецких рабов.

Мать села рядом с Лизой, стала утешать ее и гладить. И тогда девушка расплакалась, разрыдалась.

Мать сказала ей:

— Что тебе думать об этих делах? Есть люди, которые и без тебя об этом заботятся. Чем ты можешь помочь? Лучше снова сядь за свои книги. Это вернет тебе душевное спокойствие.

На другой день Лиза снова села заниматься. Но на этот раз Лиза села не у окна, а на кухне. И машинально стала читать, не вникая в дело.

Мать пришла с улицы и сказала ей:

— Там опять этот брандахлыст прошел мимо нашего дома и заглянул в окно. Неприятно будет, если эта личность повадится к нам.

Вдруг дверь отворилась, и на кухню вошел этот офицер. Вошел, как в пивную, — развязно, весело и даже не постучался.

На мамашу он не обратил внимания, и та, увидев фашиста, ушла из кухни. А с Лизой он весело поздоровался и сказал ей:

— Мне показалось, радость моя, что вчерашний наш разговор вас немного расстроил. И вот я специально пришел вас утешить, сказать вам, что перемена в вашей стране не всех коснется, и уж во всяком случае вас это не коснется. Хорошенькие женщины менее всего будут подвержены переменам судьбы. Смотрите спокойней на свое будущее.

Сдерживая свою ненависть к этому холеному офицеру — наглomu и самоуверенному, Лиза сказала:

— Зачем вы так говорите? Речь не обо мне. Но я русская, и ваши слова о моей стране, не скрою от вас, ужасно меня смутили.

Улыбаясь, офицер сказал:

— О, я вижу, вы горячая патриотка. Не знал, что русские, в силу их мягкой славянской природы, способны на сильные чувства, да еще к такому отвлеченному предмету — к отчизне. Зачем вам, крошка моя, страдать об отчизне? Наше отечество там, где нас любят. Вам будет у нас хорошо. Вы увидите такой европейский комфорт, который вам и вашим оборванным подругам в глаза не снился.

Лиза вдруг почувствовала непреодолимое желание ударить этого гитлеровского офицера. Едва сдержавшись от нахлынувших чувств, она сказала ему тем грубым тоном, который заставил фашиста настояться:

— Я не хочу об этом говорить. Оставьте меня одну.

Мать в этот момент вошла на кухню и тоже сказала офицеру:

— Давай, давай уходи к лешему. Нечего тебе болтаться на кухне.

Пожав плечами, немец ушел. Мать сказала дочери:

— Придется дверь закрывать на задвижку.

Лиза сказала:

— Теперь это неважно. Я уйду в партизанский отряд.

Мать воскликнула:

— Никуда не пушу. И не думай об этом.

Девушка сказала:

— Нет, я твердо решила это сделать. Я приблизительно знаю, где стоит этот отряд, который был сформирован при райкоме. Не удерживай меня.

Мать стала бормотать сквозь слезы:

— А как же твоя подготовка к экзаменам... Ты же так мечтала поступить в институт...

Девушка ответила:

— Вот для этого, мамочка, я и пойду в партизанский отряд. Это и будет моей подготовкой к экзаменам. Никакие экзамены не состоятся, пока не прогонят гитлеровцев. И все погибнет, если они тут останутся.

Продолжая плакать, мать сказала:

— Иди, доченька, если находишь нужным. А фашистам я скажу, что ты, допустим, ушла к своей старшей сестре в Славковичи.

На другой день Лиза Повелихина взяла в комендатуре пропуск на станцию Славковичи. Но туда она не пошла.

Попрощавшись с матерью, она ушла в лес. И после нескольких дней блуждания примкнула к партизанскому отряду, который в дальнейшем вошел в Третью партизанскую бригаду.

ПРИЛОЖЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИИ

О СЕБЕ, ОБ ИДЕОЛОГИИ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ

Отец мой художник, мать — актриса. Это я к тому говорю, что в Полтаве есть еще Зошенки. Например: Егор Зошенко — дамский портной. В Мелитополе — акушер и гинеколог Зошенко. Так заявляю: тем я вовсе даже не родственник, не знаком с ними и знакомиться не желаю.

Из-за них, скажу прямо, мне даже знаменитым писателем не хочется быть. Непременно приедут. Прочтут и приедут. У меня уж тетка одна с Украины приехала.

Вообще писателем быть трудновато. Скажем, тоже — идеология... Требуется нынче от писателя идеология. Вот Воронский (хороший человек) пишет:

...Писателям нужно «точнее идеологически определяться».

Этакая, право, мне неприятность!

Какая, скажите, может быть у меня «точная идеология», если ни одна партия в целом меня не привлекает?

С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, я просто русский. И к тому же — политически безнравственный.

Честное слово даю — не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков... В какой партии Гучков? А черт его знает, в какой он партии. Знаю: не большевик, но эс-эр он или кадет — не знаю и знать не хочу, а если и узнаю, то Пушкина буду любить по-прежнему.

Многие на меня за это очень обидятся. (Этакая, скажут, невинность сохранилась после трех революций.) Но это так. И это незнание для меня радость все-таки.

Нету у меня ни к кому ненависти — вот моя «точная идеология».

Ну, а еще точней? Еще точней — пожалуйста. По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен.

Да и кому быть большевиком, как не мне?

Я «в Бога не верю». Мне смешно даже, непостижимо, как это интеллигентный человек идет в церковь Параскевы Пятницы и там молится раскрашенной картине...

Я не мистик. Старух не люблю. Кровного родства не признаю. И Россию люблю мужицкую.

И в этом мне с большевиками по пути.

Но я не коммунист (не марксист вернее) и думаю, что никогда им не буду.

Мне 27 лет. Впрочем, Оленька Зив думает, что мне меньше. Но все-таки это так.

В 13-м году я поступил в университет. В 14-м поехал на Кавказ. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведом К. После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист, — поехал добровольцем на войну. Офицером был. Дальше я рассказывать не буду, иначе начну себя обкрадывать. Нынче я пишу «Записки бывшего офицера», не о себе, конечно, но там все будет. Там будет даже, как меня однажды в революцию заперли с квартирмейстером Хоруном в городском холодильнике.

А после революции скитался я по многим местам России. Был плотником, на звериный промысел ездил к Новой Земле, был сапожным подмастерьем, служил телефонистом, милиционером служил на станции Лигово, был агентом уголовного розыска, карточным игроком, конторщиком, актером, был снова на фронте — добровольцем в Красной Армии.

Врачом не был. Впрочем, неправда — был врачом. В 17-м году после революции выбрали меня солдаты старшим врачом, хотя я командовал тогда батальоном. А произошло это оттого, что старший врач полка как-то скуповато давал солдатам отпуска по болезни. Я показался им сговорчивей.

Я не смеюсь. Я говорю серьезно.

А вот сухонькая таблица моих событий:

арестован — 6 раз,

к смерти приговорен — 1 раз,

ранен — 3 раза,

самоубийством кончал — 2 раза,

били меня — 3 раза.

Все это происходило не из авантюризма, а «просто так» — не везло.

Нынче же я заработал себе порок сердца и потому-то, наверное, стал писателем. Иначе — я был бы еще летчиком.

Вот и все.

Да, чуть не забыл: книгу я написал. Рассказы — «Разнотык» (не напечатал; может быть, напечатаю часть). Другая книга моя «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» — в продаже. Продается она, я думаю, в Пищевом тресте, ибо в окнах книжных лавок я ее не видел.

А разошлась эта книга в двух экземплярах. Одну книжку купила — добрый человек — Зоя Гацкевич, другую, наверное, — Могилянский. Для рецензии. Третью книжку хотел купить Губер, но раздумал.

Кончаю.

Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского. Из современных поэтов мне, дорогая редакция, больше всего нравятся Оленька Зив и Нельдихен.

А про Гучкова так и не знаю.

[АВТОБИОГРАФИЯ]

Я родился в Полтаве в 1895 году. Мой отец — художник. Из дворян.

В 1913 году я окончил классическую гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета.

Курса не кончил. В 1915 году пошел добровольцем на фронт. Был ранен и отравлен газами. Получил порок сердца. Чин имел штабс-капитана.

В 1918 году пошел добровольцем в Красную Армию.

В 1919 году вернулся в первобытное состояние.

В 1921 году занялся литературой.

Первый мой рассказ напечатан в 1921 году в «Петербургском альманахе».

*Михаил Зощенко
Ленинград, 1924*

О СЕБЕ

Я родился в 1895 году. В прошлом столетии! Это меня ужасно огорчает.

Я родился в 19 веке! Должно быть, поэтому у меня нет достаточной вежливости и романтизма к нашим дням, — я юморист.

О себе я знаю очень мало.

Я не знаю даже, где я родился. Или в Полтаве, или в Петербурге. В одном документе сказано так, в другом — этак. По-видимому, один из документов — «липа». Который из них «липа», угадать трудно, оба сделаны плохо.

С годами тоже путаница. В одном документе указано — 1895, в другом — 1896. Определенно, «липа».

Профессий у меня было очень много. Об этом я всегда говорю без иронии. Даже с некоторым удивлением к самому себе.

Наиболее интересные профессии, кроме самых разнообразных военных, были такие:

Студент Петроградского университета.

Комендант почт и телеграфа. (При Керенском.)

Агент уголовного розыска. (Район Ленинград — Ораниенбаум.)

Инструктор по кролиководству и куроводству. (Смоленская губерния, город Красный. Совхоз «Маньково».)

Постовой милиционер. (В Лигове.)

Телефонист пограничной охраны.

Сапожник.

Канторщик Петроградского военного порта.

Было еще множество других профессий. Всего не вспомнишь.

Между прочим, о ремесле сапожника. Я очень люблю это спокойное, благородное ремесло. Я почти год (1920) работал подмастерьем у сапожника Воскресенского (или Вознесенского) на Васильевском Острове, по Второй линии, напротив Румянцевского сквера.

Однажды произошла такая встреча. В подвал к нам пришел человек в крылатке. Я разговорился с ним. Он назвал себя писателем Н. Шебуевым. За руку я с ним не здоровался, но разговаривал о чем-то долго. Я был тогда никому не известный юноша. Литературой в то время не занимался. А на коленях, на зеленом фартуке, у меня лежали дамские недочиненные ботинки. И поэтому, вероятно, я не назвал Шебуеву своей фамилии. Воображаю, с каким удивлением Н. Шебуев будет читать эти строчки!

Во второй раз Н. Шебуев пришел к нам вместе со своей женой. Мы опять о чем-то долго разговаривали. Однако, я не чинил ему сапоги. Чинил хозяин.

Самая пышная должность у меня была в 17-м году. После Февральской революции. Я был комендантом почт и телеграфа в Петрограде. Мне полагалась тогда лошадь. И дрожки. И номер в «Астории».

Я на полчаса являлся в Главный Почтамт, небрежно подписывал бумажки и лихо уезжал в своих дрожках.

При такой жизни я встречал множество удивительных и знаменитых людей. Например, Горького. Шаляпина как-то раз встретил у Горького. Знаком с Дм. Цензором. Иногда встречаю Липатова. Два раза сидел с Сергеем Есениным в пивной. На Михайловской улице.

Старик Есенин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...

Рабиндраната Тагора не пришлось увидеть. Но твердо верю, что встречу и этого почтенного старца.

Сейчас у меня биография скудная. Писатель. Кажется, это последняя профессия в моей жизни. Мне жаль, что остановился на этой профессии.

Это очень плохая профессия, черт ее поberi! Самая плохая из 12-ти, которые я знаю.

Сент. 27 г.

О СЕБЕ, О КРИТИКАХ И О СВОЕЙ РАБОТЕ

Предупреждение

Эта моя статья написана не для книги. Происхождение статьи совершенно случайное.

В Институте истории искусств читали доклад о моей литературной работе. Меня попросили выступить после доклада.

Я говорю плохо, несколько запутанно и, по этой причине, перед докладом за полчаса набросал эти строчки.

Статья получилась спорная. Я и сам сейчас не совсем согласен с ней. Но в тот день мне казалось именно так. Я беллетрист. И это качество, к сожалению, никогда не оставляет меня.

Я сообщаю читателю об этих обстоятельствах для того, чтобы читатель более терпимо отнесся к этой моей случайной статье.

Относительно моей литературной работы сейчас среди критиков происходит некоторое замешательство.

Критики не знают, куда собственно меня причалить — к высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики.

А так как большая часть моих вещей сделана в неуважаемой форме — журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предрешена.

Обо мне критики обычно говорят как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать черт знает что из родного русского языка. Это, конечно, не так.

Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип — тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.

А относительно мелкой литературы я не протестую. Еще неизвестно, что значит сейчас мелкая литература.

Вот, в литературе существует так называемый «социальный заказ». Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно. Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой. Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывают конечно же не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции.

Я взял подряд на этот заказ.

Я предполагаю, что не ошибся.

В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей.

Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести — это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказы — журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда, это неверно.

И повести и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого подразделения: вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот — повесть для потомства.

Правда, по внешней форме повесть моя ближе подходит к образцам так называемой высокой литературы. В ней, я бы сказал, больше литературных традиций, чем в моем юмористическом рассказе. Но качество их лично для меня одинакова.

А дело в том, что в повестях («Сентиментальные повести») я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму.

Вот отчего так, казалось бы, резко делится моя работа на две части. Но критика обманута внешними признаками.

А беда вся в том, что особенно последние два года, в силу некоторой усталости, отчаянной хандры и еженедельной обязательной работы, я ухитрился написать много плохих мелких вещей, которые на самом деле не поднимаются выше обычного журнального рассказа. Это еще больше сбивает критиков, которые с большой охотой и чтоб впредь не возиться со мной, загоняют меня чуть не в репортеры. Но я опять-таки не протестую.

Я только хочу сделать одно признание. Может быть, оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я — пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях.

Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям.

В больших вещах я опять-таки пародирую. Я пародирую и неуклюжий, громоздкий (карамзиновский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндраната Тагора и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план...

Еще я хотел сказать об языке. Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня — почти карамзиновский. Их фразы — карамзиновские периоды.

Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.

Может быть, единственный человек в русской литературе, который понял это, — Виктор Шкловский.

Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил фразу. Он «ввел воздух» в свои статьи. Стало удобно и легко читать. Я сделал то же самое.

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей.

ПАРОДИИ

О «СЕРАПИОНОВЫХ БРАТЬЯХ»

Виктор Шкловский

Вязка у них одна — «Серрапионовы братья». Литературных традиций несколько. Предупреждаю заранее: я в этом не виноват.

Я не виноват, что Стерн родился в 1713 году, когда Филдингу было семь лет...

Так вот, я возвращаюсь к теме. Это первый альманах — «Серрапионовы братья». Будет ли другой, я не знаю.

Беллетристы привыкли не печататься годами. У верблюдов это поставлено лучше (см. Энцикл. слов.).

В Персии верблюды может не пить неделю. Даже больше. И не умирает.

Журналисты люди наивные — больше года не выдерживают.

Кстати, у Лескова есть рассказ: человек, томимый жаждой, вспарывает брюхо верблюду перочинным ножом, находит там какую-то слизь и выпивает ее.

Я верблюдов люблю. Я знаю, как они сделаны.

Теперь о Всеволоде Иванове и Зощенко. Да, кстати о балете.

Балет нельзя снять кинематографом. Движения неделимы. В балете движения настолько быстры и неожиданны, что съемщиков просто тошнит, а аппарат пропускает ряд движений.

В обычной же драме пропущенные жесты мы дополняем сами, как нечто привычное.

Итак, движение быстрее 1/7 секунды неделимо.

Это грустно.

Впрочем, мне все равно. Я человек талантливый.

Снова возвращаюсь к теме.

В рассказе Федина «Песьи души» у собаки — душа. У другой собаки (сука) тот же случай. Прием этот называется на-низываньем (см. работу Ал. Векслер).

Потенция этого не знал. А Стерн этим приемом пользовался. Например: «Сантиментальное путешествие Йорика»...

Прошло четырнадцать лет...

Впрочем, эту статью я могу закончить как угодно. Могу бантиком завязать, могу еще сказать о комете или о Розанове. Я человек негордый.

Но не буду — не хочу. Пусть Дом литераторов обижается.

А сегодня утром я шел по Невскому и видел: трамвай задавил старушку. Все смеялись.

А я нет. Не смеялся. Я снял шапку (она у меня белая с ушками) и долго стоял так.

Лоб у меня хорошо развернут.

КРУЖЕВНЫЕ ТРАВЫ

Всеволод Иванов

Травы были пахучие и высокие, под брюхо лошади. От ветра они шуршали сладостно, будто осока осенью, и припадали к земле, кланяясь. Пахло землей и навозом приторно и тягуче.

У костра сидели два мужика и разговаривали.

— У-у, лешаки! — тихо сказал Савоська Мелюзга и матерно сплюнул в сторону.

Другой мужик, тоже Савоська, по прозвищу Савоська Ли-юн-чань, поправил костер и сказал строго:

— Да. Скажу я тебе, парень... Привязали мы этих человек к деревьям... За одну ногу, скажем, к одной верхушке, за другую к другой и отпустили. А кишка, парень, дело тонкое, кишка от натуги ниприменно рвется...

Савоська Мелюзга потянулся у костра и сказал глухо:

— Врешь?.. Ну, а как ты, парень, про Бога думаешь? А?

— Не знаю, — строго ответил Савоська, — Кучея его знат. Про Бога и, скажем, про праведную землю не могу тебе, парень, ничего сказать. Не знаю. Про большевиков, скажем, знаю. Сёдни слышал. Про Ленина тоже люди бают разное...

Серая большая овчарка с шумом сорвалась с места и кинулась в темноту. Шебуршали травы сладостно, будто человечьи кости осенью... (Кто сыграет в эти кости?)

Ах, травы, травы! Горючий песок! Нерадостны прохожему голубые пески, цветные ветра, кружевные травы.

Послышались шаги, и к костру подошел человек тонкий, будто киргизская лучина строганая, и сказал сурово:

— Здорово, братаны! Как у вас тут насчет Бога? А?

Мелюзга засмеялся матерно и сказал:

— Садись, лешай. Угошайся. Наварили сёдни на маланьину свадьбу.

Отхожий сел, посмотрел в котел и глухо сказал:

— А ведь меня, парень, тоже Савоськой звать...

— Ах, стерва! — тихо удивился Савоська Мелюзга и лег на шинель.

— Люди бают, — начал Савоська Мелюзга, — места энти быдто не простые, названье им быдто дадено бывшим князем Рюрихом. Кружевные травы — названье им дадено.

Прохожий снял с плеча берданку и выстрелил в воздух. Сумным гулом покатилося по лесам и степям, пригнулись травы еще ниже к земле, и из-за деревьев испуганно вышла луна.

— Это я в Бога, — просто сказал прохожий и матерно улыбнулся. Запахло кружевными травами сладостно и тягуче.

О БОР. ПИЛЬНЯКЕ

К. И. Чуковский

I

«Пришла тихая любовь...»

«Я люблю Алексея...»

«Мое сердце колотится любовью...»

— «Наталья необыкновенная, нынче революция, когда вы будете моей?»

Поразительно! Загадочно! И откуда у писателя столько чувства? И как это до сих пор никто не заметил?

II

Возьмите любой рассказ Пильняка. Главное занятие героев — любовь. Все любят. Все изнемогают от любви.

«...Ребята ловили девок, обнимали, целовали, мяли...»

«...Леонтьевна кричит: — Спать не дают, лезут к нераздетой женщине...»

И все-то у писателя любовь. Даже звери изнемогают от любовной страсти.

«...Самец бросился к ней, изнемая от страсти».

«...Волк тихо подошел к оврагу».

Такая уж у писателя провинциальная эротика!

Попробуйте отнять это чувство — от писателя ничего не останется.

III

Теперь самое главное.

Посмотрим, как Пильняк относится к религии... Перелистываю первый попавшийся рассказ.

«...Осенью Марина забеременела...»

«...Женщину нужно разворачивать, как конфетку...»

«...Облако было похоже на женскую грудь...»

«...Волк подошел к оврагу...»

Нет! Ни словечка о религии! Он писатель-атеист. И как это [я] до сих пор не заметил? Но позвольте, что это? Да так ли я читаю? Я даже подумал: уж не ослеп ли я? Уж не поступил ли в студию Дункан?

«...Танька коренастая босая».

«...Старик босой».

«...Шлепая босыми ногами».

И даже какой-то мужик в розовых портах босой.

И все-то у него босые. Кажется, отними у него босых — и ничего больше не останется.

Но зачем же, зачем же, зачем все босые?

IV

Необыкновенно! Непостижимо! Какая-то босонология! Какой-то невероятный мир босых! Некуда спрятаться от босых ног.

Аганька босая.

Прохожий босой.

Даже генерал, наверное, босой или сапоги сейчас снимет. Я даже подумал: уж не снять ли и мне сапоги?

Но снимай, не снимай — ничего не изменится. Такая уж у писателя идеология. Любой мужик у него босой, а если не босой, то пьяница или колдун. И поразительное явление: как только на одну секундочку появляется человек в сапогах, все герои в один голос кричат: «Довольно! Бейте его! Перестаньте! Снимай сапоги!»

«Сапоги снимай, на печь полезай!» — говорит Егорка Арине в повести «Голый год».

Волк подошел к оврагу...

Теперь попробуем полюбить Пильняка.

Он талантлив очаровательно. Он писатель любви и босых ног. Он, воистину, писатель любви и революции. Он весь в революции. Современнейший из современных писателей.

СЛОНОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Зощенко о себе

Жил я, запомнил, в деревне Большие Кабаны. Дом каменный строил. Ладно. Строил.

Навез кирпичей. Телеграмма: началась германская кампания — пожалуйста браться.

Сбросил я кирпичи в сторону, собрал свое ружьядишко (штаны кой-какие) и пошел тихонько.

Только иду я лесом — слон на мене.

— Ах ты, думаю, так твою так. Да. Слон.

А он хоботьем крутит и гудит это ужасно как.

Очень я испугался, задрожал, а он думает, что это тигр задрожал, и гудит еще пуше.

Оглянулся я по сторонам, поблевал малехонько, смотрю — канава. Лег я в канаву и дышу нешибко.

Только лежу нешибко — лягуха зелененькая за палец меня чавкает.

— Ах ты, думаю, так твою так. Лягуха.

А она все чавкает.

— Ты что ж это, спрашиваю, за палец-то мене, дура, чавкаешь?

А она ужасно так испугалась и на верех. Я за ней на верех, а в полшаге — мертвое тело. Лежит и на мене глядит.

Поблевал я малехонько и задрожал.

Только дрожу — смотрю, передо мной германский фронт.

— Ну, думаю, началась кампания — пожалуйста бриться.

Только я так подумал, прилег на фронт — великий князь мене к себе кличут.

Поблевал я малехонько, а он такое:

— Очень, говорит, ты героический человек, становись, например, ко мне придворным паликмахером.

Стал я к нему придворным паликмахером, цельные сутки, например, его брею, а он восхищается и все ему мало. Только вдруг взбегает человек.

— Перестаньте, кричит, бриться. Произошла, говорит, февральская революция.

Оглянулся я по сторонам, поблевал малехонько и тихонько вышел.

СЕНСАЦИОННЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Кризис сырья в Америке

Нам сообщают, что известный нафталиновый король Смит, рассчитывая поднять цены на нафталин, не выпускает его со своих складов ни одного кило. Появившаяся в огромном количестве моль пожирает шерстяные материи и сукна.

Были случаи, когда моль останавливала прохожих Свободной Америки и тут же пожирала все шерстяные части. На бирже в связи с этим интересуются русским сырьем.

Крупная потеря в буржуазном мире

В Ливерпуле ломовые лошади предъявили новое экономическое требование и объявили однодневную забастовку. Граждане Ливерпула сами впрягаются в экипажи и так разъезжают по городу. Один известный миллиардер, барон Рипс, не желая соглашаться на новое экономическое требование, объявил локаут, сам впрягся в кабриолет и выехал в клуб Блондинов.

По дороге же, испугавшись велосипеда, — понес и разбился на смерть, ударившись об угол небоскреба. Это — крупная потеря в буржуазно-финансовом мире.

Безвыходное положение Германии

Германия задыхается, не имея внешнего рынка.

Собственный рынок переполнен предметами роскоши и косметикой. Производство косметики растет. Так, например, только за последний месяц производство пудры достигло такого размера, что если бы пудрились все народы земного шара, включая сюда и негров, то пудры хватило бы на 12 лет.

В связи с этим цены на пудру упали настолько, что некоторые торговцы стали изготавливать из нее кексы и разного рода печенья. На улицах Берлина можно встретить скромно одетых женщин, усыпанных с ног до головы пудрой.

Министр иностранных дел сделал предложение Франции — часть долгов уплатить пудрой, но Пуанкаре отказался. Последний заявил, что лучше он перестанет совсем пудриться, нежели согласится на это предложение.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ввиду того, что академические театры посещаются плохо и бывают спектакли, когда в зрительном зале едва насчитывается несколько капельдинеров, «Мухомор» предлагает издать следующее обязательное для всех граждан постановление:

Все увеселительные заведения, как-то: пивные, кинотеатры, Дом искусств и Дом ученых — закрываются.

Куплетисты, борцы, чревоушатели и эсэры объявляются вне закона. Каждый гражданин, имеющий рекомендацию двух управдомов, имеет право ударить или снять пальто с лица вышеозначенных профессий.

Все граждане обоюга пола, достигшие семнадцати лет, обязаны еженедельно посещать академические театры под страхом высшей меры наказания или, взамен того, ареста до двух недель со строгой изоляцией. Во избежание давки и увечий предлагается следующий порядок посещения:

По вторникам посещают все служащие и рабочие государственных учреждений.

По средам — лица свободных профессий, кустари, девицы, литераторы, зубные врачи и издатели.

По четвергам — квартирные хозяйки.

По пятницам — беременные и матери, кормящие грудью.

По субботам — торговцы, частные предприниматели и инвалиды.

По воскресеньям — лица иностранного происхождения, а также лица, имеющие фамилии с прибавлением «Тер», например: Тер-Степанов, Тер-Кузьмин...

От посещения никто не освобождается. Управдомам вменяется в обязанность следить за проведением в жизнь сего постановления и доносить о каждом случае нарушения.

Все неисполняющие сего обязательного постановления подвергаются: личному задержанию, штрафу в один триллион рублей и кроме того высылке из пределов РСФСР.

Напротив того — все исполняющие постановление получают в виде премии: 1 галстук, полфунта синьки и 1 галошу.

Подписал — М. Зоценко

НОВЫЙ ПИСЬМОВНИК

Идя навстречу широким массам, мы занялись переизданием «Письмовника». Старый «Письмовник» издания Сытина ни в коей мере не может теперь удовлетворить потребностям масс. Иные вкусы, иные нравы!

Не говоря о том, что старый «Письмовник» является книгой опасной, имея в себе такие перлы, как образцы прошения на высочайшее имя с припаданием к стопам, явно унижающего человеческое достоинство, он еще в отделе частных писем рассчитан на нездоровый мистический вкус аристократа, больного прогрессивным параличом.

Дальше так не могло идти. Редакция «Мухомора», не щадя затрат, предлагает читателям «Новый письмовник».

Образцы и формы деловых бумаг, заявлений, прошений и писем частного характера

1. Форма прошения

Прошу переменить мне фамилию — Иван Ручкин на Иван Зако-
рючкин. Мотивирую мою просьбу тем, что фамилия Иван Ручкин
унижает человеческое достоинство, намекая на неодошевленный
предмет — ручка.

Приложение: фотографическая карточка.

Подписи — просителя, управдома и квартирной хозяйки.

2. Письмо к девице, поразившей своими формами, с назначением свидания

Милая и дорогая прелестная Нюша. Вчера, танцуя с вами ряд тан-
цев, я был поражен вашим прелестным торсом и формами, которые
слишком даже очень хороши! Танцуя с вами падеспань и ощущая в ру-
ках ваши формы, которые очаровательны, я понял, что если нам разо-
йтись в разные стороны, то от этого захворать можно.

Желая продлить миг наслаждения, посылаю вам свое письмо с на-
значением свидания.

Не желаете ли вы нынче сходить в кинотеатр «Илюзьон», в этот Ве-
ликий Немой?

Про деньги не тревожьтесь беспокоиться. За вход я заплачу, мне это не жалко, когда вы столь хороши и прелестны.

Остаюсь пораженный вашими формами
известный вам (подпись).

3. Письмо к девице по выработке мирозерцания

Уважаемый товарищ Ньюша! Предлагаю вам переписку со мной по почте по выработке мировоззрения. Ответьте мне, уважаемый товарищ, интересуетесь ли вы астрономией, а также и другими великими науками? Я интересуюсь. Прошу ответить мне, что вы думаете про луну и есть ли на ней люди или она является планетой замерзшей?

Если это вам неприятно, то извиняюсь.
Многоуважаемый (подпись).

4. Письмо поэтическое с объяснением неприхода по мере надобности

Лес грезил. Темные кудри лиственных деревьев трепетали робко, вдыхая первый аромат весны, который ударял в голову. Легкие струйки ветерка колыхали стволы, как бы моля о прощении и проклиная. Лес грезил.

Из лесу вышла молодая, стройная Девушка, опираясь на мужественную загорелую грудь стройного Юноши в одних обмотках, который, показав рукой на опушку, замер очарованный.

Они вышли на прелестную золотистую опушку леса и замерли, очарованные, в одном аккорде. Лес грезил.

Девица эта была не кто иная, как вы, дорогая и милая Ньюшенька, а про Юношу угадajte сами.

В прошлый раз я заболел свинкой и потому не мог прийти к вам, хотя томился, рвался и грезил. У вас, наверное, был опять пирог с морковкой? Ну да вы, обожаемая, царица моей души, припрячьте для меня кусочек. До свиданья, до свиданья, Девушка Ньюша. Лес грезил.

Юноша (подпись).

5. Письмо с просьбой о деньгах

Уважаемый гражданин Стелькин! Если ты, курицын сын, не положишь сего числа 100 лимонов под тумбу, что напротив твоего магазина, то только держись и на улицу не показывайся. А сына твоего, буржуйчика Кольку, выдеру, как Сидорову козу.

Готовый к услугам таинственный
незнакомец Кривой Палец.

Сей «Новый письмовник» редактировал
Михаил Зощенко

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Искушение	7
Рыбья самка (<i>Рассказ отца дьякона Василия</i>)	8
Любовь	12
Война	20
Старуха Врангель	27
1. Тонкое дело	27
2. Следствие	28
3. Почетный гражданин	30
4. Паутина	31
5. Разнотык	32
6. Конец старухи	33
Лялька Пятьдесят	34
Рассказы Назара Ильича	
господина Синебрюхова	38
Предисловие	38
Великосветская история	40
Виктория Казимировна	47
Чертовинка	54
Гиблое место	60
Гришка Жиган	64
Черная магия	68
Веселая жизнь	77
Последний барин	82
1. Встреча	82
2. Рассказ старичка	83
3. Конец	89
Рассказ про попа	90
Бедный Трупилов	94
Метафизика	95
Мемуары старого капельдинера	98
Мадонна	99
Сенатор	104
Вор	108
Собачий случай	111
Веселая Масленица	112
Сила таланта	114

Веселые рассказы	115
1. Рассказ о том, как у Семен Семеныча Курочкина ложка пропала	115
2. Рассказ о герое германской кампании	117
3. Рассказ о том, как Семен Семенович в Лугу ездил	119
Попугай	121
Бабкин муж	123
Нищий	125
Карусель	126
Свиное дело	127
Тревога	129
Плохая ветка	131
Матренища	132
Несколько слов в защиту начальников	135
Сдвиг	136
Молитва	138
Горькая доля	138
Речь, произнесенная на банкете	140
Европа	141
Новый человек	143
Писатель	144
Агитатор	146
Старая крыса	147
Приятная встреча	149
Свинство	151
Неизвестный друг	153
Руковод	154
Баба	155
Честный гражданин (<i>Письмо в милицию</i>)	156
Протокол	158
Американцы	159
Друзья	160
Беда	162
Жертва революции	165
Тщеславие	167
Аристократка	167
Герой	169
Человеческое достоинство	170
Жених	172
Последнее Рождество	175
Сказки для детей	177
1. Мамкин аборт	177
2. Кот в сапогах	177
3. Красная Шапочка	178
4. Петька Трепач	178
Собачий нюх	179
Барон Некс	180
Черт	183
Монастырь	185
Любовь	188

Хозрасчет	190
Три документа	192
Заявление	193
Письмо к матери	193
Письмо к девице	194
Китайская церемония	194
Исторический рассказ	196
Брак по расчету	197
Счастье	200
Медик	202
Диктофон	204
Забывтый лозунг (<i>Письмо в редакцию</i>)	206
Колдун	207
Случай в больнице	209
Твердая валюта	211
Старый ветеран	212
Фома неверный	214
Бедный человек	217
Человек без предрассудков	219
Пациентка	220
Исповедь	222
«Передовой человек»	223
Бедность	225
Богатая жизнь	226
Агитационный рассказ (<i>О вреде крещения</i>)	229
Верная примета	230
Плохие деньги	231
Живой труп (<i>Истинное происшествие</i>)	233
Разговоры	234
Летчик	234
Часы	235
Двугривенный	235
Поп	236
Поводырь	236
Родственник	238
Семейное счастье	240
Точная наука	242
Церковная реформа	243
Почетный гражданин	245
Пелагея	246
Европеец	248
Случай в провинции	250
Отхожий промысел	254
Тетка Марья рассказала	256
Нянькина сказка	257
Повышают	259
Рассказ певца	260
Полетели	261
Точная идеология	263
Остряк-самоучка	265
Случай	266

Паутина	267
Случай на заводе	270
Кругом 16	271
Дрова	272
Тяжелые времена	274
Светлый гений	275
Актер	276
Теперь-то ясно	278
Столичная штучка	280
Точка зрения	282
Ошибочка	283
Баня	284
На живца	286
Пасхальный случай	287
Крестьянский самородок	288
Мокрое дело	290
Мещанство	292
Суконное рыло	293
Контролер	294
Туман	295
Человек с нагрузкой	296
Доходная статья	298
Счастливое детство	300
Нервы	301
Пассажир	302
Воры	304
Рабочий костюм	305
Уличное происшествие	307
Стакан	308
Спец	310
Чудный отдых	311
Тормоз Вестингауза	312
Пауки и мухи	314
Муж	315
Папаша	317
Утонувший домик	318
Инженер	319
Кризис	321
Нервные люди	322
Сильное средство	324
Авантюрный рассказ	325
1. Тайственная западня	325
2. Врач принимает незнакомца	326
3. Чистая работа	326
Святочная история	326
Родные люди	328
Бабье счастье	329
Телефон	330
Американская реклама	331
Шутка	332
Именинница	334

Часы	335
Четыре дня	337
Дамское горе	338
На посту	339
Бочка	340
Бывает	342
Гипноз	343
Режим экономии	344
Отчаянные люди	345
Кинодрама	346
Бешенство	348
Прискорбный случай	349
Кузница здоровья	350
Рачис	351
Гибель человека	352
Театр для себя	353
Театральный механизм	355
Узел	356
Мещане	357
Прелести культуры	359
Лимонад	361
Спешное дело	362
Гости	364
Качество продукции	365
Хиромантия	367
Мелкота	368
Мелкий случай	370
Волокита	372
Бледнолицые братья	374
1. Идеальный организм	374
2. Квартира	375
3. Юморист	375
4. Скупой рыцарь	376
5. Обезьяний язык	377
Пушкин	379
Сила красноречия	381
Царские сапоги	382
Литератор	384
Свадьба	385
Галоша	388
Много ли человеку нужно	389
Мелкое происшествие	391
Рука ближнего	392
Любитель	393
Дырка	394
Бутылка	396
Полезная площадь	397
Душевная простота	398
Пароход	399
Несчастный случай	400
Событие	401

Драка	402
Операция	403
Гримаса нэпа	404
Баретки	406
Зубное дело	407
Мелочи жизни	409
1. Рубашка-фантази	409
2. Колпак	410
3. Непредвиденное обстоятельство	410
4. Зеленая продукция	411
Веселенькая история	412
Что-нибудь особенное	414
Кошка и люди	415
Шапка	416
Научное явление	417
Закорючка	418
Ростов	419
Очень просто	420
Больные	422
Хамство	423
Неприятность	425
Выгодная комбинация	426
Иностранцы	427
Не все потеряно	429
Шутка	432
Семейный купорос	433
Заграничная история	434
Пустое дело	435
Трезвые мысли	437
Неприятная история	438
Встреча	440
Клад	441
Медицинский случай	443
Неприятность	444
Серенада	445
Хороший знакомый	448
Сильнее смерти	450
Летняя передышка	452
Материнство и младенчество	454
Няня	456
Необыкновенная история	457
Происшествие	459
Честное дело	461
Мерси	462
Землетрясение	464
Чистая выгода	467
Расписка	469
Дама с цветами	471
Приятная встреча	475
Не надо спекулировать	478
Сторож	481

Доктор медицины	483
С луны свалился	486
Испытание героев	490
Врачевание и психика	495
Дела и люди	499
Кража	500
Западня	503
Грустные глаза	506
Какие у меня были профессии	508
Анна на шее	515
На дне	519
Водяная феерия	521
Поездка в город Топцы	524
Плохая жена	526
Стенограмма речи, произнесенной на собрании нашего жакта от 28 января жильцом из квартиры № 7	529
Не пушу	531
Дача Петра Свинцова	534
Науку — на борьбу с шумом!	536
История болезни	539
В трамвае	542
Нетактично поступили	544
Спи скорей	546
Опасные связи	549
Огни большого города	552
Жалоба	555
Двадцать лет спустя	556
Тишина	565
Парусиновый портфель	572
Веселая игра	576
Вынужденная посадка	579
Сердца трех	581
Браки заключаются в небесах	585
Встреча	588
Долг чести	590
Шумел камыш	592
Новые времена	594
Похвала транспорту	600
Живые люди	603
Людоед	605
Роза-Мария	607
Валя	610
Король золота	612
Последняя неприятность	617
Поминки	620
Несчастный случай	623
Кочерга	625
Сапоги	628
Хорошая характеристика	631
Испытание	633
На всякий час ума не напасешься	635
Коммерческая операция	637
Святая ночь	639

Пчелы и люди	642
Рогулька	646
Нашел, что искал	648
Фокин-Мокин	650
Добро пожаловать	652
Солдатские рассказы	654
1. Катюша	654
2. Могила немецкого солдата	654
3. Чучело	655
4. Узкое место	656
5. Плохая земля	657
6. Искушение	658
7. Стреляйте в меня	660
8. Учительница	660
9. Сеанс для немцев	662
10. Уважили	662
11. В гостях у немцев	663
Дополнения к «Солдатским рассказам»	664
Федот, да не тот	664
Слабая психика	665
Звереныш	666
Портрет	666
В подвале	668
Фотокарточка	670
Страшная месть	673
Двадцать три и восемь десятых	676
Литературные анекдоты	679
Предисловие	679
1. Под огнем критики	680
2. К вопросу о лакировке	681
3. Рассказ начинающего писателя	683
4. Грубая ошибка	685
Похвала старости	685
Разная правда	689
Чрезвычайное происшествие	693
В бане	697
Грубые ошибки	704
Маленькая мама	710
В больнице	712
За столом	715
Петр Иваныч и другие	719
Мелочи жизни	722
Хороший урок	725
Федор Антонович прав	728
Иван Кузьмич и другие	731
После разлуки	733
Рассказы на колхозные темы	735
1. Рассказ знакомого полковника	735
2. Рассказ доярки, которая ничем не прославилась	737
3. Рассказ докторши, у которой я лечусь	739
4. Рассказ главного агронома	745

ГОЛУБАЯ КНИГА

Предисловие	750
I. Деньги	753
Рассказы о деньгах	772
Сколько человеку нужно	772
Рассказ про няню, Или прибавочная ценность у этой профессии	773
Мелкий случай из личной жизни	776
Таинственная история, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно	778
Рассказ про одного спекулянта	780
Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть	782
Рассказ про одну корыстную молочницу	786
Трагикомический рассказ про человека, выигравшего деньги	788
Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь»	793
Послесловие	798
II. Любовь	799
Рассказы о любви	816
Рассказ о старом дураке	816
Женитьба — не напасть, как бы после не пропасть	819
Рассказ о письме и о неграмотной женщине	820
Рассказ про даму с цветами	823
Мелкий случай из личной жизни	827
Свадебное происшествие	831
Забавное приключение	833
Последний рассказ под названием «Коварство и любовь»	839
Послесловие	841
III. Коварство	843
Рассказы о коварстве	864
Интересная кража в кооперативе	864
Рассказ о том, как чемодан украли	866
Поимка вора оригинальным способом (<i>Быль</i>)	868
Мелкий случай из личной жизни	871
Рассказ о подлеце	874
Интересный случай в гостях	878
Забавное происшествие с кассиршей	880
Хитрость, допущенная в одном общежитии	882
Рассказ о том, как девочке сапожки покупали	883
История с переодеванием	885
Послесловие	887
IV. Неудачи	889
Рассказы о неудачах	913
Происшествие на Волге	913
Рассказ о банях и их посетителях	915
Страдания молодого Вертера	918
Рассказ об имениннице	921
Мелкий случай из личной жизни	923
Интересное происшествие в канцелярии	926
Романтическая история с одним начинающим поэтом	929

Рассказ о человеке, которого вычистили из партии	933
Рассказ о беспокойном старике	935
Рассказ о зажиточном человеке	939
Послесловие	941
V. Удивительные события	944
Послесловие	967
Приложение к пятому отделу	968
Бедная Лиза	968
Рассказ о студенте и водолазе	972
Происшествие	974
Мелкий случай из личной жизни	977
Последний рассказ	980
Послесловие ко всей книге	982
Прощание с философом	983
Прощание с читателем	985

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Умные животные	989
1. Умный гусь	989
2. Умная кура	989
3. Глупый вор и умный поросенок	990
4. Очень умная лошадь	990
5. Умная птичка	991
6. Умная собака	992
7. Сравнительно умная кошка	992
8. Очень умные обезьянки	993
Хитрые и умные	994
Вот какие бывают мышшки	994
Попалась, которая кусалась	995
Ученая обезьянка	995
Умная белка	996
Еще одна умная белка	997
Интересно придумала	997
Пора вставать!	998
В гостях у клоуна	998
Загадочная история	999
Глупая история	1007
Показательный ребенок	1008
Умная Тамара	1011
Трусишка Вася	1013
Самое главное	1014
Любимое занятие	1016
Кто ваши родители?	1017
Смелый, да не очень	1018
Лея и Минька	1018
I. Не надо врать	1018
II. Галоши и мороженое	1021
III. Бабушкин подарок	1025
IV. Тридцать лет спустя	1027
V. Находка	1029

VI. Елка	1032
VII. Великие путешественники	1034
VIII. Золотые слова	1039
Рассказы о Ленине	1043
1. Графин	1043
2. Серенький козлик	1045
3. Рассказ о том, как Ленин учился	1046
4. О том, как Ленин бросил курить	1047
5. О том, как Ленин перехитрил жандармов	1049
6. Иногда можно кушать чернильницы	1050
7. О том, как Ленин подарил одному мальчику игрушку	1052
8. Ленин и часовой	1053
9. В парикмахерской	1055
10. О том, как Ленину подарили рыбу	1056
11. О том, как тетушка Федосья беседовала с Лениным	1058
12. Ошибка	1060
13. Покушение на Ленина	1061
14. Пчелы	1062
15. Ленин и печник	1064
16. На охоте	1066
Рассказы, не вошедшие в цикл	1068
В сорок семь лет	1068
Как Ленин спал на полу	1070
Храбрые дети	1071
Леночка	1073
Спустя три года	1076
Интересный рассказ	1078
Бедный Федя	1081
Хорошая игра	1083
Приключения обезьяны	1085

РАССКАЗЫ О ПАРТИЗАНАХ

Предисловие	1093
1. Вот что они обещали	1094
2. Добрый день, господа	1097
3. Акулина из Берлина	1099
4. Всякому свое	1101
5. Вас это не коснется	1104
6. Топчите свой рай	1108
7. Мы напрасно остались	1112
8. Не продаю свою родину	1115
9. Надо отвечать огнем	1118
10. Мы вас не звали	1121
11. Так что же вам надо?	1123
12. Он приказал молчать	1126
13. Лиха беда — начало	1130
14. Не забудут до новых веников	1133
15. Прежде скончались, потом разобрались	1137
16. После концерта	1140

17. Можно ли верить человеку	1144
18. Среди полей широких	1147
19. Вы арестованы, майор	1152
20. Ветер гасит искры	1155
21. Все имеет свой конец	1158
22. Поймите простую истину	1162
23. Хозяева идут	1165
24. Чье кушаю, того и слушаю	1168
25. Федот, да не тот	1171
26. Падающего толкни	1173
27. У счастья много друзей	1175
28. Он умел подчиняться	1178
29. Наш последний медведь	1180
30. Деньги не пахнут	1183
31. Разговор немца с учительницей	1185
32. Итоги	1188
Послесловие	1190

ПРИЛОЖЕНИЕ

Автобиографии

О себе, об идеологии и еще кое о чем	1193
[Автобиография]	1195
О себе	1195
О себе, о критиках и о своей работе	1196
Предупреждение	1196
[Как я работаю]	1199
[Автобиография]	1205
Автобиография	1206
Как я пошел сражаться за Советскую власть	1208

Пародии

О «Серапионовых братьях»	1213
Виктор Шкловский	1213
Кружевные травы	1214
Всеволод Иванов	1214
О Бор. Пильняке	1215
К. И. Чуковский	1215
Слоновое приключение	1216
Зощенко о себе	1216
Сенсационные известия	1217
Кризис сырья в Америке	1217
Крупная потеря в буржуазном мире	1217
Безвыходное положение Германии	1218
Обязательное постановление	1218
Новый Письмовник	1219
Образцы и формы деловых бумаг, заявлений, прошений и писем частного характера	1219
Святочные рассказы	1221
Через сто лет	1223
1. Аэроразврат	1223

2. Халатность	1223
3. Тормозят науку	1224
4. Старая история	1224
Праздничный подарок	1225
Первый образчик. На случай дождя	1225
Второй образчик. На случай хорошей погоды	1225
Ранняя проза	
Двугривенный	1226
Разложение	1226
И только ветер шепнул	1227
Костюм маркизы (<i>Ноктюрн</i>)	1228
Каприз короля	1229
Конец	1231
Актриса	1232
Мешаночка	1233
Сосед	1234
Подлец	1238
Как она смеет...	1240
Тайна счастливого (<i>Сказка</i>)	1242
Муж	1247
Я очень не люблю вас, мой властелин	1247
Серый туман	1248
1. В городе	1248
2. Огненное решение	1250
3. Студент Повалишин	1252
4. Северная лилия	1253
5. Товарищ Мишка	1255
6. В лесу	1257
7. Огненная идея	1258
<i>Алфавитный указатель</i>	1259